

МАРИЯ КОРЕЛЛИ

Наставник во Христе



Мария Корелли
Наставник во Христе
Серия «Магистраль. Главный тренд»
Серия «Религиозная трилогия», книга 3

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74371341

Мария Корелли “Наставник во Христе”: ООО «Издательство «Эксмо»;

Москва; 2026

ISBN 978-5-04-251829-4

Аннотация

«Наставник во Христе» – заключительная часть «Религиозной трилогии», в которую входят «Варавва» (1893) и «Скорбь сатаны» (1895). Эти произведения не объединены единой сюжетной линией, но связаны общими лейтмотивами: падением человека, духовным поиском, столкновением с божественным и надеждой на спасение.

Что важнее для спасения души – следование церковным канонам или верность словам Христа? В романе Марии Корелли «Наставник во Христе» герои сталкиваются с мучительным выбором между живой верой, общественным лицемерием и правом на прощение. Пламенные проповеди, обличающие духовную пустоту, тайны прошлого, сыновняя месть, боль отвергнутой любви и покаяние сплетаются в напряженный религиозно-психологический роман о суде совести.

Конец XIX века, эпоха кризиса традиционной религиозности и роста секуляризма. Престарелый кардинал Феликс Бонпре находит у Руанского собора беспризорного ребёнка по имени Мануэль и берет его под опеку. С появлением мальчика вокруг начинают происходить события, похожие на чудо: исцеляются больные, разоблачаются преступления. Но чем явственнее становится сила, исходящая от Мануэля, тем сильнее тревога церковных властей, увидевших в нём и в самом кардинале угрозу своему порядку, – вскоре их начинают преследовать. Параллельно с этим разворачиваются и другие драмы. История племянницы кардинала, талантливой художницы Анжелы Соврани, и её жениха Флориана Варильо. Аристократки Сильви Эрменштайн и смелого реформатора Обри Ли. Аббата Верньо и социалиста Ги Гранди.

Мария Корелли, одна из самых читаемых английских писательниц рубежа XIX–XX веков, прославилась мистико-христианской прозой, близкой по духу Толстому, Достоевскому и Булвер-Литтону. Эта книга – сплав исповедального романа и духовной драмы, где главный поединок разворачивается не в мире, а в сердце человека.

Содержание

Глава I	7
Глава II	27
Глава III	53
Глава IV	82
Глава V	96
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Мария Корелли

Наставник во Христе

Литературный редактор Олеся Царева.

Художественное оформление серии Натальи Портяной.

Marie Corelli

The Master-Christian: A Question of the Time

1900



Школа перевода
В. Баканова

© Фокина Ю., перевод на русский язык, 2026

© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Всем конфессиям, что бранят одна другую во

имя Христа

Глава I

Садилось солнце, и все колокола вызванивали «Ангелуса»¹. С каждой из многочисленных колоколен, что являются будто бы затейливыми зубцами в дивной короне древнего города Руана, летели священные звуки (разные по тональности, но неизменно сладостные), сливаясь в вышине с потоками теплого осеннего воздуха. Рыночные торговки, целый день проводившие за своими прилавками, над горами плодов, пучками зелени и цветочными букетами, замедляли при этих звуках тяжкие шаги свои, останавливались посреди пыльной дороги, которая вела их домой, в жалкие жилища, и с истовостью творили крестное знамение. Барочник, несомый по течению на своем плоскодонном неповоротливом судне, вынул изо рта трубку, машинально снял шляпу и пробормотал, более по привычке, нежели по зову души: «Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас». С полдюжины ребятишек, что выбежали из школьных стен, вдруг замерли и стали переглядываться, безмолвно спрашивая друг дружку, уместно – или глупо – будет им сейчас повторить знакомые слова, давным-давно упорядоченные Церковью. Правда, уже распространился слух, будто бы из некоего маленького, полузабытого (хотя во время оно достославного соборного го-

¹ Angelus Domini (лат.) – «Ангел Господень», повседневная католическая молитва. – Здесь и далее примечания переводчика.

рода) прибыл нынче в Руан *кардинал*-архиепископ – человек чистейших помыслов и аскетических привычек, в своем отдаленном, крошечном диоцезе ² почитаемый едва ли не святым; и тем не менее разумно ли для них – получающих светское образование детей Прогресса – бубнить текст «Ангелуса» под колокольный перезвон? Тут было над чем задуматься: ребята ходили в государственную школу, где Закон Божий не преподавался и молитвы не приветствовались, ибо Франция исключила Бога из национальных учреждений. Пусть так – слава изгнанного Создателя все-таки озаряла темнеющий предвечерний небосвод! Начиная с серебряной Сены, которая, зарумянившись на закате, обвила прекрасный древний Руан словно праздничная пунцовая лента, и заканчивая верхушками рослых тополей по берегам – всюду теплое сияние, пульсируя тысячами разноцветных мазков, трансформировало каждый объект таким образом, что его можно было счесть обителью мечты. Динь-дон, динь-дон – растаяли в вышине последние отголоски колокола, заодно с финальными словами молитвы, что выдохнул в своем уединении каждый пастор: «Молись о нас в час смерти нашей! Аминь!» И тут же усталые торговки продолжили свой медленный путь домой, и школяры рассыпались, как бусины, живо позабыв о священных словах, так ими и не произнесен-

² В Римско-католической и протестантской церкви диоцез – то же, что епархия в православии, т. е. церковно-административная территориальная единица во главе с архиепископом, епископом или архиепископом.

ных, а что до барочника, его посудина уже успела скрыться за поворотом реки. Тишина, которая наступила после перезвона, была глубока и наполнена смыслом; великое Солнце, уходя на покой, получило в свое распоряжение весь небосвод. В великолепную оконную розу ³ Руанского собора был пущен на прощание пучок лучей, и рубиновые, золотые, аметистовые блики заплясали на истертых Временем крышках саркофагов над местами упокоения Ричарда Львиное Сердце ⁴ и Генриха Второго, супруга Екатерины Медичи и любовника блистательной Дианы де Пуатье. Один широкий луч диагональю пересек резные хоры в той части собора, которая посвящена Святой Деве, осияв алебастровое надгробие того, кто известен как «Le Mourant» – «Умиравший». Поистине, это творение внушает трепет и заставляет изумляться, ибо скульптор запечатлел сильного мужчину в последних конвульсиях агонии. О, этот художник, живший столь давно, не был склонен смягчать и сглаживать – из-под его беспощадного резца вышли напряженные мышцы, вздувшиеся вены, вспухшие веки полузакрытых утомленных глаз. Он стоял за истину в искусстве – неумолимую, свободную от стыдливых покровов изящества; истину, которая сродни откровению, нагую, как сам столь реалистично изваянный «Умиравший». Такая истина притом еще и уродлива, по крайней

³ Оконная роза, или окно-роза, – большое круглое, как правило, витражное окно в верхней части западного фасада католического храма.

⁴ В Руанском соборе покоится только сердце Ричарда I.

мере на вкус людей светских, ценящих приятности и лице-приятности; людей, которые не терпят напоминаний о простом факте – что они, заодно со всеми прочими, обречены когда-нибудь умереть. А между тем последний солнечный луч касался призрачно-белой, полупрозрачной фигуры с той же кротостью, с какой ласкал изваяние самой Девы Марии, простирающей руки из полумрака ниши, каковая ниша тонкостью резьбы походила на старинное кружево, где, как в паутине, сверкают алмазные росинки. Да, прекрасен и тих был в этот час Собор Девы Руанской; сулил отдохновение под сенью своих темных переплетающихся арок, траченных Временем статуй, древних боевых знамен, что колышутся под сводами от каждого сквозняка. Пахло ладаном, и казалось, воздух тяжелит память о тех, кто здесь молился – вслух ли или в молчаливом благоговении. А по нефу, окруженный полуразрушенными символами жизни и смерти, равно как и символами бессмертия (увы, пребывавшими в столь же плачевном состоянии), двигался, увенчанный розоватым нимбом закатного света, тот, для кого вечные истины перевешивали свои тленные подобию, а именно кардинал Феликс Бонпре, человек безупречной репутации, которого в Ватикане иногда шутливо называли «наш добрый святой Феликс». Высокого роста, пугающе худощавый, с лицом, чьи тонкие черты еще более истончил аскетический образ жизни заодно с непрестанной духовной работой, Феликс Бонпре имел вид ученого и мыслителя, чья жизнь не была и не будет под-

властна привычкам, усвоенным миром в последнее время. В чистом и твердом взгляде лазоревых глаз читалось: «Мир Божий... превыше всякого ума»⁵; трепетные линии рта и подбородка говорили о внутренней силе и нестигаемой воле, одновременно свидетельствуя, что и сила, и воля направлены на служение добру и избегание зла. Ни единого признака колебаний, малодушия, плутовства, низости или потворства своим слабостям не было на благородном и открытом лице кардинала; сама его манера двигаться, прямо держа свое легкое тело, молчаливо подтверждала красоту духа, без которой не бывает истинной внешней красоты и грации. Кардинал замедлил и без того неторопливые шаги перед «Умиравшим», обозрел сей шедевр (в коем автор поднялся до высот самой Смерти), вздохнул раздумчиво и скорбно; губы кардинала зашевелились, творя молитву. Ибо сама судьба человеческая – начало ее, упования и печальный финал – предстала перед кардиналом в этом резном куске алебаstra. Верхнюю часть надгробия занимала сцена с младенцем, приникшим к материнской груди; пониже был изображен отрок, поражающий цель стрелой, пущенной из лука. Далее, в более крупном масштабе, кардинал видел горделивого мужа в расцвете лет и сил, славного рыцаря, готового биться и побеждать, вооруженного до зубов, на богато убранном боевом скакуне, с копьём наперевес. Наконец, четвертая сцена – собственно

⁵ Новый Завет, Послание ап. Павла к Филиппийцам, 4:7. – Здесь и далее цитаты из Священного Писания даются в синодальном переводе.

саркофаг – являла нагого, беспомощного человека, чьи руки стиснуты в усилии сделать еще хоть глоток воздуха, чьи мышцы напряжены в неравной борьбе с неизбежным распадом.

– Однако, – молвил кардинал вполголоса, и улыбка, подобно рассветному лучу, мягко легла на его аскетические уста, – это вовсе не конец! То есть это конец здесь; но в то же время начало – ТАМ!

Он возвел очи горе и машинально коснулся серебряного Распятия, что на пурпурной ленточке висело на груди его. Апельсинно-алый свет объял кардинала – состоялось впечатление, будто истощенную фигуру в черном сейчас поглотит пламя, совсем как в былые эпохи оно поглощало мучеников. Сверху, из своих изъеденных временем ниш, глядели скульптурные изображения тех, кого не пощадило Средневековье, и словно бы говорили: «Вот так и мы думали – да, даже мы! За наши мысли и убеждения мы добровольно приняли муку. И что же? Нам привелось увидеть мир, в котором люди либо не знают про нас, либо, зная, глумятся над нами».

Впрочем, кардинал Бонпре в искренней, идеальной вере не заметил ни намек на ропот или отчаяние в сих каменных ликах. Евангелисты, его окружавшие, были последователями Христа, а значит, могли только ликовать, принимая пытки, сулившие им вечную славу. Нет, кардинал Бонпре соперевживал лишь тем несчастным, которые страдали вовсе не за Христа, и их одних считал заслуживающими сочувствия.

«Если этот рыцарь давних времен, — думал кардинал, отходя от надгробия, — известный нам — увы! — как «Умиравший», и только, — был преданным слугой Благословенного Господа нашего, значит, его можно приравнять к святым мучеником. Да пребудет его душа в мире и покое!»

Бонпре задержался возле очередного шедевра — гробницы кардинала Амбруаза ⁶, чьи перспективы обрести жизнь вечную не вызывали в добром Феликсе ни малейших сомнений. Постояв с минуту над этим своим «братом во Христе», он тихонько покинул капеллу — место одиноких размышлений — и направился к центральному нефу. Неф был пуст — даже утомленная прядильщица шелка, тайком бросив один из тех станков, что не простаивают ни мгновения, не перебирала здесь своих чёток. Просторный, гулкий, безлюдный в самом возвышенном смысле этого слова, Собор своей земной формой повторял Распятие, и вдаль почти необозримую уходил его неф. В самой глубине Собора, над усыпальницами, как бы вдавленными в темные стены, теплились одна-две лампы; несколько поминальных свечей — как горящих, так и потухших, скрюченных — льнули друг к дружке на шатком медном поставце перед изваянием Святой Девы, которое тоже, увы, не пощадило Время. «Ангелуса» отзвонили минут десять назад; теперь единственный колокол, раскачиваясь на соборной колокольне, обозначая час суток, издал шесть низких звуков, каждый из которых долго еще пульсировал в воз-

⁶ Д'Амбруаз Жорж — кардинал и министр при Людовике XII.

духе и сообщал дрожь всему Собору, от сводов до фундамента. Отзвуки последнего удара еще были ощутимы, когда откуда-то сверху послышалась музыка. Сначала обозначившая себя нотой-другой, она вскоре набрала силу и сделалась как бы продолжением вибрации, произведенной колоколом. Кардинал успел пройти неф до середины; он медленно продвигался к дверям, но был вдруг застигнут мелодией – словно ангел предстал перед ним, вынудив замереть на месте.

– Наверное, органист репетирует, даром что час не ранний, – вслух произнес Феликс Бонпре, словно обращаясь к невидимому спутнику, и замолк, поглощенный музыкой.

Вокруг него и над ним ширился поток сладчайших нот, между тем как закатные лучи, проникая сквозь синие и красные витражные стекла, делались все бледнее, и уже начали теряться во мгле многократно пересекающиеся своды (благодаря изяществу боковых колонн они напоминали цветы на высоких стеблях). Внезапно и без какой-либо внешней причины Феликс Бонпре оказался охвачен странным чувством – будто здесь, в Соборе, незримо присутствует нечто сверхъестественное. Благоговейный трепет объял прелата. С легкой телесной дрожью, происхождение которой было ему непонятно, кардинал выдвинул стул из темного угла (куда подобную мебель прячут после мессы, дабы не портила впечатление от широкого, великолепно украшенного нефа), уселся, прикрыл глаза ладонью и попытался стряхнуть предчувствие, от которого, к слову, опасался упасть в обморок.

Мелодия, изливаемая откуда-то из-под самого купола скрытым от глаз органом, звучала теперь с победительной мощью. Сколь полновесное, сколь неоспоримое заявление, думал кардинал; поистине, дивный инструмент славит вечную тайну, не подвластную ни разуму, ни речи человеческой. Господь вездесущ, а Небеса ближе, чем кажется, умилялся Феликс Бонпре, сидя будто бы в коконе торжественных и умиротворяющих звуков, уносимый ими из пределов бренности. Он не мог ни молиться, ни размышлять, пока резко и болезненно, как откровение, как если бы ей был придан новый, ошеломляющий смысл, в благоговейную тишину его души не вторглась давно знакомая фраза:

«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

7

Медленно отвел он ладонь от лица и стал озираться, не то испуганный, не то потрясенный. Была ли фраза кем-то произнесена вслух? Или слова возникли сами собой, выплыли, огненные, из моря музыки, что бушевало вокруг него, Феликса Бонпре?

«НО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПРИДЯ, НАЙДЕТ ЛИ ВЕРУ НА ЗЕМЛЕ?»

Казалось, вопрос выдохнули ему в ухо, ожидая ответа, — и кардинал, этот благочестивый старик, охваченный рассказом, обратил взоры в душу свою и мысленно проследовал через минувшие годы, выясняя у себя самого, праведно

⁷ Ев. от Луки, 18:8.

ли, хорошо ли он жил. Внутренний взор кардинала Феликса Бонпре обнаруживал только умышленные прегрешения и полную негодность, даром что те, кому кардинал служил словом и делом, видели в нем идеального пастыря. В их глазах это был человек, любимый Господом и бережно хранимый ангелами – последнему обстоятельству имелось немало подтверждений. Кардинал благоденствовал в своем диоцезе, который, даром что количеством населения едва дотягивал до какой-нибудь процветающей английской деревни, всегда имел во главе своей архиепископа. По этой причине кардинал Бонпре жил вдали от современного мира, большую часть досуга посвящая чтению и ученым занятиям. Он позволял себе лишь одну земную радость – выращивал лучшие розы во всей округе. Но в невинности сего занятия уверен он не был, подозревая, что потворствует своему эгоизму, и для очистки совести не брал к себе в дом ни единого цветка. Лучшие из них ложились на алтарь как подношение Деве Марии, исполненное чистой веры; остальные отправлялись к изголовьям больных и скорбящих либо на гробовые крышки умерших. Феликсу Бонпре было невдомек, что бедняки считали «кардиналовы розы» чудотворными и хранили, даже когда те увядали; что цветам приписывалась способность исцелять и что холодеющие уста прикладывались к душистым лепесткам (несомненно, полным таинственной благодати) почти столь же истово, сколь они лобызали святое распятие. Феликс Бонпре об этом не ведал; зато с какой ясно-

стью видел он свои недостатки! В последнее же время, чувствуя, что стареет, и понимая, что с каждым днем приближается к черте, которую на пути из Времени в Вечность должен переступить каждый, Феликс Бонпре страдал душой. Мудрость его была того сорта, что достигается вдумчивым чтением, уединенными размышлениями и усердными занятиями (Феликс Бонпре изучал не только древнюю философию, но и современные веяния и тенденции). Душа кардинала не имела сомнений касательно веры, но в мире множилось зло, усугубляя хаос, грозя чудовищной, неотвратимой катастрофой, – и этот факт, осознаваемый Феликсом Бонпре, несказанно его печалил. Дурные предчувствия давно уже терзали не только душу, но и плоть кардинала; от природы худощавый, кардинал совсем иссох, а год, о котором идет речь, он встретил в состоянии, чреватом роковым ударом. Вот почему те, кто любил его, встревожились, призвали врача, и тот, с убежденностью опытного эскулапа считая душевную боль необъяснимым и неизлечимым недугом, объявил, что больному необходима перемена обстановки. Кардинал Бонпре должен отправиться в путешествие; новые впечатления дадут ему покой и отвлекут от тяжких мыслей. Кардинал с улыбкой смирения повиновался – не столько веря, что рекомендация поможет, сколько не желая огорчать свою паству. Он покинул соборный город, намереваясь пробыть вдали от него несколько месяцев. За это время, думалось ему, он выяснит, куда все-таки движется мир – к распаду и смерти или

к вершинам прогресса и жизни. Он уехал один, без сопровождающих; целью кардинала был Париж, где находилась его племянница, откуда он намеревался сопроводить девушку в Рим, в дом ее отца. Желая выяснить глубину веры жителей разных французских городов, кардинал намеренно двигался к Парижу кружным путем; к тому времени, как он достиг Руана, сердечная его болезнь не только не пошла на убыль – она усугубилась. Кардинал убедился, что хаос и смятение в мире действительно наличествуют. Все меньше тех, кто верит в Господа и жизнь после смерти, – вот в чем главная причина, думал кардинал. Но как недостаток веры вообще мог возникнуть в христианском мире? С горечью задавался кардинал этим вопросом, и всякий раз ответ был один: львиная доля вины лежит на самой Церкви, на богословах, на проповедниках всех конфессий.

«Мы ошиблись в самой сути, – рассуждал Феликс Бонпре, почему-то испытывая муки совести, словно был виноват куда больше, чем другие священники. – У нас не получилось следовать наставлениям Учителя; мы делаем не то, что Он заповедал. Мы посеяли в своих душах зерна порока и разврата, мы допустили – нет, даже в отдельных случаях стимулировали их рост, и вот теперь под угрозой заражения целая возделанная нива».

На ум кардиналу пришли слова Иоанна Богослова, изреченные к церкви в городе Сарды:

«ЗНАЮ ТВОИ ДЕЛА – ТЫ НОСИШЬ ИМЯ, БУДТО

ЖИВ, НО ТЫ МЕРТВ.

БОДРСТВУЙ И УТВЕРЖДАЙ ПРОЧЕЕ БЛИЗКОЕ К СМЕРТИ, ИБО Я НЕ НАХОЖУ, ЧТОБЫ ДЕЛА ТВОИ БЫЛИ СОВЕРШЕННЫ ПЕРЕД БОГОМ МОИМ.

ВСПОМНИ, ЧТО ТЫ ПРИНЯЛ И СЛЫШАЛ, И ХРАНИ И ПОКАЙСЯ. ЕСЛИ ЖЕ НЕ БУДЕШЬ БОДРСТВОВАТЬ, ТО Я НАЙДУ НА ТЕБЯ, КАК ТАТЬ, И ТЫ НЕ УЗНАЕШЬ, В КОТОРЫЙ ЧАС НАЙДУ Я ТЕБЯ.

ВПРОЧЕМ, У ТЕБЯ В САРДАХ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ НЕ ОСКВЕРНИЛИ ОДЕЖД СВОИХ, И БУДУТ ХОДИТЬ СО МНОЮ В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ, ИБО ОНИ ДОСТОЙНЫ.

ПОБЕЖДАЮЩИЙ ОБЛЕЧЕТСЯ В БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ, И НЕ ИЗГЛАЖУ ИМЕНИ ЕГО ИЗ КНИГИ ЖИЗНИ, И ИСПОВЕДАЮ ИМЯ ЕГО ПРЕД ОТЦОМ МОИМ И ПРЕД АНГЕЛАМИ ЕГО»⁸.

Гуще и темнее делались длинные тени под сводами Собора; две свечи, которые и без того уже мигали перед изваянием Пречистой Девы, внезапно погасли, с шипением разбрызгав воск; торжественная музыка звучала все тише и тише, покуда ноты ее не стали подобны морскому ветерку, что принес этим стенам, нишам, колоннам цветочное дыхание тропических островов, чьи золотые берега целует томный прибой, где распевают сладкоголосые птицы. Кардинал, однако, продолжал размышлять о горестях и бедах, о прискорбных

⁸ Откр. Иоанна Богослова (Апокалипсис).

сомнениях в душах большей части населения Земли. И пусть сам кардинал к этим сомневающимся не относился, пусть его не тяготило бремя неверия – он ни за что не противопоставил бы себя этим горемыкам. В его понимании безмятежность подразумевала веру в Творца и Христа, а вера оберегала от страданий, испытываемых столь многими. Заезженную фразу «добродетель гарантирует счастье» кардинал причислял к вечным истинам и не подвергал анализу, так же как не мог усомниться в том, что солнце светит в небесах, а горе порождается исключительно злом. Кардиналу даже в голову не пришло бы сравнить себя с ближними; если бы у него хоть на миг мелькнула мысль о своем превосходстве над большинством и о вытекающем из превосходства благополучии, кардинал сам себя обвинил бы в непростительной гордыне и предрезостной самонадеянности. Буквально все говорило кардиналу о недовольстве и суетности современного человека. Умение просто радоваться бытию, казалось, навсегда покинуло этот мир, и даже поразительные научные открытия, даже достижения так называемого прогресса лишь усугубляли всеобщую неудовлетворенность. Это глубоко печалило кардинала. Застигнутые горем, болезнью, смертью родных, люди крайне редко были склонны утешаться философией и еще реже – верой; они сразу поддавались отчаянию и животному страху, какой обнаруживается у малых детей перед громом и молнией. Увы, так было почти повсеместно, кроме тех редких случаев, когда у того или иного горемыки сохра-

нялась вера во Христа.

«Впрочем, у тебя и в Сардах есть несколько человек»! Несколько человек! Буквально горстка! Всеобщая усталость от жизни, похоже, стала болезнью века; ничто не радует людей, и даже новейшие, удивительные результаты научных исследований приедаются им уже через неделю после их триумфальной демонстрации и первой волны одобрения.

– Не иначе мир состарился, – печально пробормотал Феликс Бонпре. – Он теряет былую энергичность; он слишком утомлен, чтобы тянуться к свету; слишком изможден для молитвы. Как знать, вдруг близок конец всего сущего? Вдруг мы – на заре обетованных «новых небес и новой земли»?

Тут же смолкла музыка, и кардинал, очнувшись от задумчивости, более похожей на транс, медленно поднялся и с минуту стоял лицом к главному алтарю, который с такого расстояния был едва различим среди теней, в неверном свете тусклой потолочной лампы перед дарохранительницей. В ней, находившейся за дверьми из белоснежного мрамора, золотым ключом были заперты священные, таинственные облатки.

«НО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПРИДЯ, НАЙДЕТ ЛИ ВЕРУ НА ЗЕМЛЕ?»

Возникнув снова, этот вопрос будто бы прозвучал не в разуме кардинала, а в его ушах – так отчетливы были слова. Глубокая тишина будто ждала ответа, и кардинал, движимый внезапным восторгом, воскликнул:

– Да! Он найдет веру – пусть и в немногих! Ибо есть «несколько человек в Сардах»! В скорбящих и смиренных, в неимущих и терпеливых, в тех, чье мученическое подвижничество подверглось глумлению, Он найдет веру. В тех, за чье спасение Он умер, будут Им обнаружены бесценные сокровища духа! Но не сыскать Ему веры в баловнях жизни и судьбы – в наставниках и проповедниках, называемых мудрецами. Если обратится Он к книгам, то обнаружит презрение к Себе, отрицание Себя, ибо такова дешевая, подложная философия нынешних эгоистов, извративших Его заповеди, объявивших их бесполезными. Мало осталось тех, кто ради Него пойдет на самоотречение, кто будет славить Его имя, не помышляя возвеличить заодно и собственное. Многие знания рождают в гордеце-ученом самонадеянность; так и с Господними чудесами – чем больше их нам явлено, тем сильнее мы сбиты с толку. В своем ослеплении мы уже поклоняемся не Творцу, но Его творениям, забывая, что Вселенная управляется непостижимым Божественным Разумом. Возьмем чудеса эпохи, или научные достижения, или предвидение еще более чудесных вещей – что они, как не предтечи самого Господа, «грядущего на облаке с силою и славою великою»⁹?

Говоря так, Феликс Бонпре по привычке воздел руку, и солнечный луч – последний, замешкавшийся – коснулся дра-

⁹ Ев. от Луки, 21:27.

гоценного камня в апостольском перстне ¹⁰, сделав его из бледно-зеленого – густо-пурпурным, будто искра живого огня. Восковое лицо Феликса Бонпре вспыхнуло вдохновенным румянцем, но секунду спустя кардинал уже был поглощен мыслями об огромной части человечества, что о Христе не ведаёт. Кардиналу привиделись обитатели восточных пределов мира с их запутанной, хотя и прекрасной философией; дикие племена, как покоренные, так и нет; свирепые и отважные янычары, которые при всем при том беззаветно верны своему Пророку. Наконец, кардинал вспомнил о многих тысячах христиан в христианских странах, которые поминают Христа всуе, для которых Его имя значит не больше, чем какой-нибудь идол для членов племени мумба-юмба. Неужели все эти люди сгинут навек? Разве не наделены и они бессмертными душами, подлежащими спасению? Неужели труды Церкви длиною в восемнадцать с лишним столетий пошли прахом, ибо как еще назвать сей жалкий итог: «У Тебя и в Сардах есть **НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК**»? Если так, на церквях лежит тяжкая вина! Повинна даже святая Матерь-Церковь, которая зиждется на памяти о лживом апостоле ¹¹! Или не повинна? С неумолимой быстротой, словно пущенные мучителем-бесом, эти мысли охвати-

¹⁰ Иначе – кольцо рыбака; носят епископы и папы на безымянном пальце правой руки как символ обручения с Церковью. По смерти носителя перстень должен быть уничтожен.

¹¹ Имеется в виду апостол Павел.

ли разум кардинала, запылали, искажая тонкие черты его лица и терзая трепетную душу. Неужели Господь, исполненный любви Творец бесчисленных миров, настолько жесток, что способен преднамеренно уничтожить миллионы беспомощных созданий на одной планетке лишь потому, что по невежеству и за неимением наставников они не сумели найти Христа? Неужели Господь распространит Свою милость и всепрощение только на «нескольких человек» из Сард?

«Но ведь наш мир – булавочная головка по сравнению с непостижимой в своей безмерности вечностью, – сам себе возразил кардинал. – Лишь единицы могут уповать на спасение».

Впрочем, он себя не убедил. Как все-таки быть с миллионами обреченных? Что же, они сгинут навеки? К чему такое расточительство? Расточительство – применительно к жизни человека! Нет, его не может быть – по крайней мере, этот догмат современной науки преподобный Феликс усвоил. Природа не терпит расточительства; ни вздох, ни звук, ни сцена не пропадают, а бережно сохраняются в кладовых и по воле Природы могут воспроизводиться до бесконечности. Что тогда станет с мириадами человеческих существ – и с бессмертными душами, которые Церковь не сумела спасти? Церковь – и вдруг «не сумела»! Но почему? Чья это вина, чья слабость – ибо вина и слабость тоже ведь никуда не денутся.

«НО СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПРИДЯ, НАЙДЕТ ЛИ ВЕРУ НА ЗЕМЛЕ?»

– Нет, – выдохнул кардинал словно против воли, сам же опровергая свои недавние утверждения. – Нет!

Постояв еще с минуту, он двинулся к дверям, на ходу омочил пальцы в святой воде, что тускло поблескивала в мраморной чаше близ дверей из мореного дуба, и сотворил крестное знамение.

– Не найти Ему веры там, где вера должна быть превознесена. Признаём же это в открытую – и с покаянием. Ему не найти веры даже в Церкви, Им основанной; о, стыд нам и позор!

Кардинал поник головой, будто собственные слова ранили его, и в глубоком унынии покинул Собор. Окованная железом дверь бесшумно открылась для него и закрылась за ним; колокол пробил семь раз, и голос его доносился будто из мира мертвых.

За стенами Собора кроткие сумерки смягчили дневную жару, и мир, осиянный предзакатным светом, готовился встретить благословенный вечер; в стенах Собора длинные тени, скопившись в проходах и приделах, в нишах с изваяниями, раньше срока призвали ночь. Последняя из поминальных свечей перед Святой Девой мигнула и погасла – будто светляк исчез в крошечной тьме; последние отзвуки колокола пролились на могильные плиты безвестных мертвецов. Вместе с худощавой фигурой кардинала, казалось, покинули Собор – сие святилище, сей дом Господень, – и последние намеки на живую жизнь и чувство. Каменная громада стала

схожа со склепом – или с темной космической Пустотой, где, словно единственная алая звезда, теплилась перед алтарем лампадка.

Глава II

Руанская Соборная площадь есть истинная услада для глаз, когда речь идет о поэте или художнике. Каждый уголок ее, неважно, насколько укромный, каждый причудливый дом, каждая сомнительная лесенка, чьи ступени ведут бог весть куда, каждый конек покато́й крыши – да что там, само полнейшее отсутствие системы при застройке – все романтично, все дышит историей. Полускрытая ниша, искалеченная статуя, едва различимые очертания древнего герба на столь же древних воротах; ржавое кольцо, намертво вмазанное в стену для поддержания фонаря, ненужного в эпоху газового и электрического освещения; давно не действующий, поросший сорной травой фонтан; каменная чаша для святой воды, в которой после ливней купаются беззаботные пичужки – вот лишь некоторые из удивительных фрагментов Прошлого, благодаря коим Соборная площадь заинтересует ученого, заморозит мыслителя и мечтателя. Чего стоит один только роскошный отель «Бургтерольд», основанный еще при Франциске Первом! Эпизоды переговоров на Поле Золотой Парчи ¹² отображены на стенах этого здания заод-

¹² *Поле Золотой Парчи* – место мирных переговоров Франциска I и Генриха VIII, проходивших в июне 1520 г. и имевших целью урегулировать ожесточенную борьбу Франции и Англии за влияние в Европе. Цель достигнута не была, зато Франция понесла чудовищные убытки, ведь на организацию переговоров и

но с эпизодами из «Триумфов»¹³ Петрарки; это неожиданно само по себе, и этого довольно, чтобы минимум час предаваться фантазиям. Как случилось, что Петрарка и Поле Золотой Парчи разом пришли на ум скульптору, который столь давно ваял эти барельефы? Вопрос праздный, ответа на него не будет, объяснение невозможно – «Бургтерольд» останется восхитительной загадкой из мира архитектуры. По улицам Эписери и Грос-Орлож, несомненно, прогуливались братья Корнели¹⁴, когда были еще молоды, еще не извлекли из своих душ торжественный и тяжеловесный гений французской трагедии. А неподалеку – надо только пройти по одной из убегающих вверх змеистых улочек и свернуть за угол – обнаружится отреставрированный особняк Дианы де Пуатье; вид у него обитаемый, причем настолько, что в резном окне почти мерещится прекрасное, хищное лицо женщины, умевшей жонглировать настроением короля посредством улыбок и капризных гримас.

Кардинал Бонпре, покуда шел мимо готической громады Дворца юстиции, выстроенного еще в XIV веке, вскользь по-

устройство лагеря денег не жалели (название «Поле Золотой Парчи» объясняется тем, что шатры для гостей делались из этого дорогостоящего материала), притом в лагере непрерывно шли рыцарские турниры и роскошные пиры.

¹³ Поэма в форме череды символических циклов, которые заканчиваются победами. Всего 6 триумфов: Любви, Целомудрия, Смерти, Славы, Времени, Вечности. Барельефы изображают эти понятия в персонифицированном виде.

¹⁴ *Корнель, Пьер* (1606–1684) – поэт и драматург, «отец французской трагедии»; *Корнель, Томá* (1625–1709) – драматург и либреттист.

думал обо всех перечисленных событиях и персонах – вот именно «вскользь», ибо оставался под впечатлением от торжественной музыки и от тьмы, что медленно сгущалась под соборными сводами, как бы сливаясь с той тьмой, которая объяла его душу. Тяжкое бремя нес кардинал, был близок к тому, чтобы осудить себя за смертный грех. Разве не он только что, пред алтарем Всевышнего, в полный голос, с неслышанной дерзостью заявил, будто веры прискорбно мало в самой Церкви? Он, кардинал-архиепископ, произнес сии крамольные слова; он выкрикнул их в тишине святого места – разве этот акт не является подтверждением, что он недостойн служить Господу? Разве не богохульной была его речь? Удрученный, сам не свой, добрый Феликс продолжал почти вслепую идти к скромной, если не сказать жалкой, гостиничке. Ночевали в ней только беднейшие путники, что и стало для кардинала главным аргументом в ее пользу. Конечно, adeпты новейших идей о личном комфорте сочли бы нашего праведного прелата чудачком из чудачков, ибо он искренне полагал, что обязан, насколько возможно, во всем подражать Учителю, за Коем дал клятву следовать. Странная, нелепая мысль, особенно если учесть неприкрытую и кощунственную распущенность, наблюдаемую ныне в поведении христиан; поистине, Феликс Бонпре проявлял фанатизм! Впрочем, у него имелись одобренные Церковью основания, и главным из евангелических советов, сиречь первейшим руководством к действию, он почитал Доброволь-

ную Бедность. Вот именно, Добровольная Бедность – в пику несметным сокровищам, безо всякой пользы хранящимся в Ватикане; в пику жирным синекурам, в коих процветают епископы и архиепископы, ибо и сокровища, и синекуры находятся в прямом противоречии с заветами Христа, являются примерами непослушания. Христос в Своей земной жизни был беден; посещал только беднейшие дома. Ни разу не коснулся Он пречистой Своей стопой дворцовых плит, если не считать дворца первосвященника, где Спаситель выслушал смертный приговор. Символичность этого события нередко становилась предметом тягостных размышлений Феликса Бонпре.

«Божественность обречена гибнуть во всех дворцах, сколько их ни есть, – говаривал кардинал. – Господь живет лишь на лоне природы, под небосводом, осиянным солнцем либо россыпями звезд. Неспроста Свои проповеди Он читал исключительно на открытом воздухе – уже в самом этом факте содержится руководство для нас».

Кстати, кардинала Бонпре приглашали в дом, очень похожий на дворец, и оставаться там он мог столько, сколько пожелал бы. Речь идет об особняке архиепископа Руанского. Истинной обителью роскоши был этот особняк, особенно по сравнению с гостиничкой под названием «Пуатье», чье ветхое убожество, впрочем, оправдывалось почтенным возрастом строения. Ее крошечные тусклые окошки, как бы вдавленные в стены, как бы приклепнутые резными арками, по-

ходили на старческие глаза под нависшими бровями; ее узкая дверь, не оснащенная засовом, болталась на скрипучих ржавых петлях и ни днем ни ночью не закрываясь как положено. Зато каждый усталый путник при входе в гостиничку оказывался под целым каскадом изумрудных, пересыпанных золотистыми цветками плетей вербейника – и невольно чувствовал душевный подъем, и догадывался, что в этом убогом заведении будет принят не без радушия. Держала гостиничку смиреннейшая супружеская чета. Хозяин, Жан Пату, имел на окраине Руана клочок земли, где выращивал на продажу картофель и сельдерей – самые непритязательные овощи. Его жена была занята хлопотами по дому и воспитанием Анри и Бабетты – а надобно заметить, что таких шалунов еще и не видывали ни в Руане, ни за его пределами. Сохраняя улыбку полнейшего довольства на своем круглом лице, мадам Пату – женщина пышная, тучная, неповоротливая, но опрятная и всегда умытая буквально до блеска – твердила, что выходки сына и дочери вгонят ее в гроб, однако почему-то (не иначе действовали скрытые силы организма) с каждым днем только полнела. Кушанья, ею приготовленные, неизменно были превосходны – даже если Бабетта умудрялась сунуть куклу в горшок жаркого, а ее брат Анри пускал в кастрюле с супом бумажные кораблики. Так и жила эта семья: Жан Пату не сетовал на скромную выручку за овощи и полагал себя человеком преуспевающим, мадам Пату чувствовала, что «милосердный Господь» отдельно печется лично

о ней. Что до вредной Бабетты и еще более вредного Анри, после очередной шалости они бросались матушке на шею и молили о прощении, затем некоторое время сидели по разным углам за чтением часослова, отбыв же наказание, могли вновь озорничать в свое удовольствие. Впрочем, именно сейчас в доме царило нехарактерное благолепие; покой снизошел на гостиничку, и атмосфера в ветхих стенах стала сродни той, что наблюдается во дворцах. Мадам Пату, отлично понимавшая, сколь скудно и бедно меблированы комнаты, суежилась куда меньше и перемещалась куда величественнее, чем было у нее в обычае; Анри с Бабеттой сидели как мышки, хотя никто не велел им вести себя тихо, и зубрили уроки, побуждаемые к тому внезапным и странным импульсом. Причиной этих перемен было появление Феликса Бонпре, который искал и нашел здесь пристань. Мадам Пату извинялась за тесноту и неудобство лучших своих комнат, но сдалась под действием доброй улыбки, мягкого голоса и непритязательности кардинала.

– Сами судите, монсеньор, – пролепетала мадам Пату, – могли ли мы ожидать такой чести, как визит святого кардинала-архиепископа в наше жалкое заведение! На Бульварах полно новеньких домов, где монсеньор устроился бы со всеми удобствами, а ему, то бишь вам, ваше преосвященство, угодно было одарить благодатью нас, ничтожных. О! Не иначе, это произволение Пречистой Девы – слишком удивительное и чудесное, а потому и не постижимое вот этак с ходу!

Так говорила мадам Пату, прерывая речь задышливыми паузами и почтительными книксенами; но добрый кардинал одним жестом как бы отмел все ее извинения и протесты, назвал ее «дочь моя», по-отечески нежно перекрестил ее чело и заверил, что проблем с ним будет не больше, чем с любым другим постояльцем.

– Проблемы! О небо! Да разве ж может речь идти о проблемах, когда дело касается вашего преосвященства! – воскликнула мадам Пату, растроганная до слез готовностью кардинала занять лучшие покои (две смежные комнаты с минимумом мебели), и поспешила на кухню.

По пути она прихватила своих упитанных отпрысков и торжественно сообщила им, что в доме находится святой, достойный составить компанию любому из тех, других, каменных святых, что занимают ниши в Соборе, возле круглого разноцветного окошка; ну а если Анри с Бабеттой будут паиньками, у них все шансы увидеть, как с Небес к этому святому спустится всамделишный ангел. Бабетта сунула пальчик в ротик и уставилась на мать. В ее сердечке еще теплилась вера в ангелов. Зато Анри, со своим дешевым цинизмом типичного юного француза нынешних времен, колебаний не ведал.

– Мама, – заговорил он, – у нас в школе один мальчик утверждает, что Бога вовсе нет, а значит, не нужны ни священники, ни кардиналы, ни соборы – это все хлам и надувательство!

– Бедное маленькое заблудшее чудовище! – воскликнула мадам Пату, не отвлекаясь от кастрюльки, в которой булькал суп кардиналу на ужин. – Вот попомни, Анри, мои слова: вырастет из этого мальчика вор или убийца! А тебе не пристало его слушать, не зря ведь ты ходишь на занятия к благочестивому Перу Лорену, который объясняет тебе, в чем твои святые обязанности, раз уж так получилось, что нынешняя школа их вовсе перечеркнула. Глупыш ты этакий! Да если бы Господа Бога не было, и мы бы на свете не жили! Наш мир только и держится, что милостью Спасителя да молитвами святых угодников.

Анри притих, Бабетта скроила презрительную мину.

– Если кардинал и правда святой, – изрекла она, – значит, он должен творить чудеса. Фабьен Дюсэ уже целых семь лет – калека. Мы с Анри приведем его к монсеньору, и пускай он исцелит Фабьена. Сумеет – так и быть, поверим, что святые живут на свете.

Мадам Пату подняла над кастрюлькой разгоряченное, покрасневшееся лицо и с негодованием уставилась на свою не по годам дерзкую дочь.

– Как! Ты посмеешь докучать кардиналу? – взвизгнула она. – Ты надумала лезть к нему с подобными глупостями? О мой Бог! Да можно ли быть такой нечестивицей? Послушай-ка меня, Бабетта! Если ты хоть одно словечко скажешь его преосвященству, я тебя накажу! Что тебе за дело до Фабьена Дюсэ? Если бедняжка больной и увечный, значит, тако-

ва Господня воля.

– Не понимаю, какой интерес Богу калечить и мучить Фабьена... – начал было неугомонный Анри, но мадам Пату оборвала его, топнув мощной ногой, и прикрикнула:

– Цыц! Ни слова больше, гадкий, порочный мальчишка! Ты меня в могилу сведешь своими речами! А все школа – вот уж рассадник зла! На беду отец тебя туда отправил!

Еще не смолк исполненный праведного негодования материнский голос, как Анри, вдруг поддавшись необъяснимому, таинственному чувству, разразился рыданиями, более похожими на вопли пытаемого дикаря, а Бабетта, в первый миг замершая в ужасе, живо опомнилась и заревела в унисон с братом.

Тут-то и раздался мягкий голос, отчетливый и чистый даже среди звуков бурного семейного скандала:

– Почему плачут мои дети? – осведомился кардинал Бонпре, словно выросши на пороге. – Что за малая печаль их расстроила?

Анри перестал рыдать, Бабеттин отчаянный визг мгновенно смолк, и наступила тишина, проникнутая священным трепетом. Брат и сестра таращились на почтенного Феликса, который восковым лицом и позой истощенного тела выражал благородство и снисхождение. Мадам Пату, судорожно глотая воздух, изложила суть проблемы.

– Одной Пресвятой Деве известно, что станется с этими бесенятами, когда они подрастут! Они уже сейчас заражены

неверием – все им надобно увидеть своими бесстыжими глазами! – подытожила мадам Пату.

При этом утверждении, сделанном с таким пылом сердитой матушкой, на двух лукавых мордашках мелькнуло нечто вроде ухмылки, но кардинал улыбаться и не думал. Напротив, его лицо сильно побледнело и стало серьезным, даже суровым.

– Дети правы, дочь моя, – терпеливо заговорил он. – Никакой я не святой! Ни единого чуда в жизни не сотворил. Я – бедный грешник и вотще старался поступать правильно; да, вотще! Прошрое, исполненное благородства, минуло; ныне мы все погрязли в заблуждениях, и разве может Господь благословить тех, кто зовет себя Его слугами, но священные заветы исполняет кое-как, без должного сердечного пыла? Подойди ко мне, моя крошка! – продолжал Феликс Бонпре, обращаясь к Бабетте, и она, со странной гримаской, выражающей решимость пополам с робостью, повиновалась. – Ты всего лишь маленькая девочка, – ладонь кардинала опустилась на каштановые кудряшки, – но я был бы неразумным стариком, если бы пренебрег тобой, или твоими мыслями, или твоим стремлением к истине ради самой истины. Завтра приведи ко мне своего увечного друга, я же, не обладающий ни одним из божественных даров, поступлю по завету Учителя, то есть возложу руки на бедное дитя и помолюсь об его исцелении. Увы, только на это я и способен! Если же чудо случится, то лишь волей Господа нашего, ибо Он один мо-

жет творить чудеса.

Далее кардинал, по обыкновению, благословил всех троих и скрылся в своей комнате. Бабетта, вдруг посерьезневшая, охваченная одним из тех порывов, которые свойственны сумасбродным детям, протянула руку Анри.

– Идем в Собор! – властно шепнула она. – Нужно помолиться Пречистой Деве.

Ни слова не ответил сестре бойкий Анри – но, взявши ее пальчики в свою довольно грязную, усеянную бородавками ладошку, послушно и поспешно вышел из дому, чтобы пересечь площадь и шагнуть в тишину и сумрак Собора. Мадам Пату глядела вслед своим отпрыскам, пока их пухлые фигурки не скрылись. Изумлением и благодарностью наполнилась ее душа. Воистину, начались чудеса, рассуждала мадам Пату, если всего несколько слов из уст кардинала внушили Бабетте и Анри идею о необходимости молитвы!

Дети отсутствовали недолго; скоро, рука в руке, они вернулись, забились в уголок и стали учить уроки. Напрасно Бабеттина кукла, некогда наряженная как модница-парижанка, ныне – скорее прачка, одноглазая, в засаленных чепце и переднике (вот до чего довела ее жизнь!), – напрасно эта кукла, сидевшая на скамейке, одиноко склонявшаяся над совком, тянула к Бабетте свои ручки на шарнирах. Барабан, чьим пугающим громом Анри всегда был рад всполошить сонные старинные улочки, валялся позабытый, постыдно немой. Ибо, как уже было сказано, в доме царил мир. Даже появле-

ние папаша Пату, румяного после прополки сельдерея, пахнущего землей, – даже его появление не повлияло на атмосферу. Папаша Пату был низенький, толстый весельчак; в его продолговатой голове не водилось иных идей, кроме вот этой: что Вселенная устроена превосходно, а сам он, известный в округе просто как Пату, везуч сверх всякой меры как в семейной жизни, так и в делах, ибо выращивать сельдерей совсем нетрудно, ежели земля благословлена Господом. Остальное не волновало папашу Пату; он знал, что мир весьма широк и что погода в разных его частях разная; он ежедневно штудировал грошовую газетку и утверждал, что следит за политической ситуацией, поскольку это занятно, на самом же деле считал французский сенат сборищем болванов и дивился, зачем они нужны, если только и знают, что переливать из пустого в порожнее. Папаша Пату чтит «Отечество», но только до известных пределов; вмешайся «Отечество» в процесс выращивания сельдерея, он бы возмутился. Если коротко, папаша Пату вполне понимал, что французы – это нация и он к этой нации принадлежит, то есть при вторжении врага возьмет мушкет и будет до последнего вздоха биться за жену, детей и грядки с сельдереем. Дальше его представления о патриотизме не шли. Он не анализировал мнения инакомыслящих (зачем утруждаться?) и не вникал в споры между враждующими партиями. Когда настало время отдавать детей в государственную школу, первым делом папаша Пату осведомился, преподается ли там Закон Божий.

Нет, сказали ему; правительство против религии в образовании, поскольку религия не допускает дискуссий, да и проку от нее в жизни ни малейшего. Пату долго чесал голову и сокрушался; наконец на его щекастой физиономии появилась самодовольная улыбка.

– Отлично! – воскликнул он. – Теперь я понял, почему наше правительство вечно на смех себя выставляет! Да разве могут безбожники толком дело делать? То-то, что не могут! Не беда: Пер Лорен научит моих детей молитвам и катехизису, а об остальном позаботятся Небеса.

Приняв это решение, папаша Пату выбросил проблему из головы. Его сын и дочь ходили в государственную школу, но по средам, субботам и воскресеньям Пер Лорен – добрый и простодушный старик-кюре – рассказывал им и группе других детей, тоже «обучаемых государством», о Творце Вселенной, изгнанном из Франции, об Его бесконечной любви к людям – грешникам и богохульникам.

Так и шло: Анри и Бабетта, напичканные всевозможными фактами, которые теоретически могут пригодиться в жизни, превращенные до срока в циников, все-таки имели опору в виде спасительного ощущения, что в мире есть нечто выше и лучше их. Это Благо молчаливо заявляло о себе то величественной красотой небосвода, то тихой прелестью цветка и вообще всех нерукотворных объектов. Таким образом, ни Анри, ни Бабетта еще не превратились в самые пугающие порождения наших дней – в детей-атеистов, для которых нет

божества более великого, чем они сами.

Вернувшись тем вечером в лоно семьи, папаша Пату хоть сообразительностью и не блистал, а все ж таки заметил, какая поистине голубиная благодать царит среди его домашних. Круглощекое лицо жены светилось кротостью; дети были как шелковые. Вот почему за ужин папаша Пату садился в еще более твердом, нежели обычно, убеждении, что в этом лучшем из миров ему здорово везет. И прежде чем сунуть в рот полную ложку горячего супа, он осведомился:

– А монсеньеру, кардиналу Бонпре, ты, душенька, ужин подала?

Мадам Пату округлила глаза:

– Конечно! Не вообразил ли ты, мой кочанчик, будто тебя накормят прежде, чем монсеньора? Вот было бы диво!

Папаша Пату смутился и не сказал более ни слова, пока не съел весь налитый ему суп.

– А в поле-то какая нынче была благодать! – завел он, разделавшись с супом. – Этакий славный дух от землицы, вот вроде как ежели бы фиалки расцвели. И жаворонок пел, так и заливался, даром что осень на дворе. А небо-то! Синее-пресинее, будто одеяние Пречистой Девы. А тучки-то! Белехонькие, как ангелы, которые к Деве прильнули.

Со стороны мадам Пату последовал снисходительный кивок. Были люди, которые считали ее мужа поэтической натурой; она к таковым не относилась. Анри с Бабеттой слушали внимательно.

– Пречистая Дева всегда одета в синее, – сказала Бабетта.

– А небесные ангелы – в белое, – добавил Анри.

Мадам Пату промолчала и налила всем добавки. Папаша Пату глядел на детей с нежностью.

– Все верно, малытки мои, – подытожил он. – Потому что синий да белый – небесные цвета, а Дева Мария с ангелами живет на небесах!

– Вот интересно, где именно? – пробормотал Анри с набитым ртом. – Небо – оно ведь что? Тысячи лье воздуха, а в этом воздухе миллионы и миллионы планет крутятся, да каждая побольше, чем наша Земля, – иные прямо огромные, а которая из них самая большая – никому не известно!

– Ты прав, сын мой, – заговорщицким тоном отвечал папаша Пату. – Никому не известно, которая из планет больше всех, но как раз она-то Пресвятой Деве с ангелами и принадлежит.

Анри покосился на сестру, но та хрустела кресс-салатом и проигнорировала вопросительный взгляд. Зато папаша Пату, довольный, что так удачно ответил сыну, продолжал ужин в наилучшем расположении духа.

– А какие блюда ты подала на ужин его преосвященству, малытка моя? – обратился он к жене любовно-игривым тоном, словно имел дело с невесомой лесной нимфой, а не с матроной могучего сложения, каковою являлась мадам Пату. – Уж наверное, состряпала что-нибудь этакое, изысканное, благоуханное?

Мадам Пату сокрушенно покачала головой.

– Нет, монсеньор об разных изысках и слышать не хотел. Постного супу похлебал, хлебца пожевал с инжиром и яблоком – вот и все. Святое Небо! Хорош ужин для кардинала-архиепископа! Слезы, а не ужин!

Папаша Пату некоторое время переваривал сведения, наконец выдал с полувопросительной интонацией:

– А может, он бедный, монсеньор-то?

– Если и так – сам виноват. Где это слыхано, чтобы кардиналы-архиепископы бедняками были? Они ж разбогатеть могут запросто!

– Разве? – оживился Анри. – А как?

Ему не ответили, потому что послышался громкий стук в дверь, а через минуту в тесном коридорчике возник рослый, плечистый человек в сутане, за могучей спиной которого маячил некто неказистый.

Папаша Пату поспешно выдвинул стул.

– Архиепископ! – шепнул он жене. – Нашенский, руанский. Собственной персоной!

Мадам Пату вскочила, побуждая встать и своих детей, и принялась делать книксены.

– Благословен будь дом сей! – изрек вошедший, с учтивой улыбкой творя адресованное всем сразу крестное знамение. – Не утруждайтесь, чада мои! Лучше скажите – не здесь ли остановился прославленный кардинал Бонпре?

– Здесь, здесь, монсеньор! – зачастила мадам Пату. – Его

преосвященство как раз закончил вечернюю трапезу. Желаете, чтобы я вас проводила в его покои?

– Будьте так добры, – отвечал архиепископ Руанский с прежней благожелательной улыбкой. – А мой секретарь, если позволите, пускай подождет меня здесь.

Архиепископ указал на плюгавого, с землистым лицом своего спутника и учтиво пропустил вперед мадам Пату, дал ей удалиться на несколько шагов и лишь тогда последовал за ней мягкой и упругой поступью, распространяя изысканное благоухание, таившееся в шуршащем шелке его сутаны.

Жан Пату остался занимать секретаря. Первые пару минут он чувствовал неловкость. Анри и Бабетта таращились с нескрываемым любопытством, причем по их мордашкам видно было, что мнение об этом чужаке складывается у юных Пату самое неблагоприятное.

– У него ресницы совсем белые! – шепнул Анри.

– А зубы совсем желтые! – подхватила Бабетта.

Тем временем Пату, который успел как следует почесать свою дынеобразную голову, нашелся – предложил гостю стул.

– Садитесь, сударь, – сказал он почтительно.

Секретарь скроил вялую улыбку и принял приглашение. Пату снова задумался. Навыков вести светские разговоры у него не имелось, и он пребывал в неведении относительно дальнейших действий.

– Дурно это будет, да, поди, и непочтительно, ежели я при

вас трубочку раскурю, мосье... мосье...

— Кезу, — подсказал секретарь с очередной вялой улыбкой. — Клод Кезу, бедный писарь, к вашим услугам! Прошу вас, мосье Жан Пату, курите, не стесняйтесь!

Иронию уловил папаша Пату в этом голосе — и нашел ее чрезвычайно обидной, ибо неизвестно почему принял на свой счет. Нарочито медленно взял он с каминной полки свою трубку, еще медленнее принялся ее набивать, щепотками беря табак из жестяной коробочки.

— Не припомню, чтобы в городе вас встречал, мосье Кезу, — заговорил он. — Да и на мессах в Соборе что-то не видел.

— Что ж такого? — живо откликнулся секретарь. — По улицам слоняться я привычки не имею, а в Собор хожу лишь по воскресеньям, к ранней обедне. Работа на монсеньора занимает все мое время.

— Вон оно что! — Пату наконец-то набил трубку, раскурил и принялся пускать колечки дыма. — Вы работой загружены! В Руане столько бедняков, столько хворых имеют нужду в деньгах, одеже и прочем таком! Каждую несчастную душу утешить, каждому пособить — дело мудреное даже для архиепископа.

В знак согласия Кезу сцепил свои костлявые пальцы, изобразивши на физиономии гримасу благочестивого рвения.

— Взять хоть наш квартал. Тут неподалеку живет одна несчастная, — раздумчиво продолжал Пату. — Мы зовем ее Дурочка Маргерит. У бедняжки сердечко-то — вдребезги;

я все думаю, надо бы об ней с Пером Лореном потолковать, пускай обратится к его преосвященству. Она вроде как бесами одержима – вот его преосвященство бесов-то и повыгонял бы. Славная была эта Маргерит еще пару лет назад, пока не свалился на ее голову один мерзавец. Через срам-то она и разума лишилась. Теперь и не взглянешь без слез на горемыку, на злополучную Маргерит Вальмон!

– Ха! – вдруг воскликнул Анри, грязным пальцем показывая на Кезу. – Чего это вы дернулись, будто укушенный?

Кезу и впрямь дернулся, то есть подпрыгнул на стуле и тотчас сел, всем своим видом выражая досаду и неловкость. Впрочем, он быстро справился со своими чувствами (каковы бы они ни были), растянул тонкие губы (предполагалось, что это улыбка) и обратился к востроглазому Анри.

– А ты бойкий мальчик! – заметил он снисходительным тоном. – И рослый – явно не по годам. Кстати, который тебе год?

– Мне одиннадцать, – ответил Анри. – Но к вашему прыжку мой возраст никак не относится.

– Пожалуй. – Кезу заерзал на стуле, словно сдерживая смех. – Но и мой прыжок никакого касательства не имел до тебя, юный друг! Я просто вспомнил об одном важном деле.

– Так это у вас от мыслей? – недоверчиво переспросил Анри. – Вы всегда подпрыгиваете, как чего вспомните?

– Ай-ай-ай, сынок! – проговорил Пату между двумя затяжками. – Вы уж извините его, мосье Кезу, – что взять с

ребенка?

Кезу скроил дружелюбную улыбку.

– Да, но какой это славный ребенок! – бросил он. – А девочка, его сестренка, – она просто прелесть. Карие глазки – как вишни, а уж кудряшки!.. Почему бы ей не подойти и тоже не поговорить со мной?

Кезу протянул руку к Бабетте, но она скривила свое хорошенькое личико и попятилась. Пату одобрительно заулыбался.

– Она у нас чужих дичится, мосье Кезу.

– А вот это очень хорошо! Это правильно! Маленьким девочкам следует без оглядки бежать от чужих людей, особенно если они моего пола. – Кезу хихикнул. – Ну а в школу эти детки ходят?

Пату вынул трубку изо рта и возвел взор к потолку.

– Разумеется, ведь это закон, – отвечал он, не спеша подбирая слова. – Хотя, будь моя воля, они бы и порога школьного не переступили. Там их только дурному учат, а что до пользы – я ее пока еще не видал. Возьмите географию, или, к примеру, звезды небесные, или анатомию – да любую науку из тех, что зовутся точными. Знаний в эти две головки напихано – хоть отбавляй. А вот насчет заповедей Господних – жить честно, не жульничать, соблюдать себя в чистоте телесной – оченно я сомневаюсь, чтобы школа этому детей учила. Вся надежда на Пера Лорена – уж он старается, он не подведет.

– Пер Лорен? – ослабившись, повторил Кезу. – Вы о нем высокого мнения? Действительно, он хороший человек. Если б только не его полное невежество...

Папаша Пату бросил созерцать потолок и стал сверлить глазами своего собеседника.

– Невежество?

Увы, в этот миг вошла мадам Пату, властно обняла детей и сообщила мосье Кезу, что архиепископ пока занят беседой с кардиналом Бонпре и секретарь вовсе не обязан его дожидаться – монсеньор пойдет домой один. Кезу встал, явно довольный, что его отпускают, и покинул дом Пату. Правда, на пороге он помедлил, бросил на главу семейства почти угрожающий взгляд и отчеканил:

– На вашем месте я не докучал бы монсеньору историей этой... этой... как же ее... Маргерит Вальмон. Монсеньор терпеть не может дурных женщин.

С тем он удалился в сторону архиепископского особняка, причем Соборную площадь пересекал крадущейся походкой, будто вор, который задумал особо дерзкую кражу со взломом.

– Да он просто крыса! Крыса! – выкрикнул Анри и ни с того ни с сего исполнил в кухне дикарский боевой танец. – На такую крысу хорошая кошка нужна!

– Крысы – они милые, – возразила Бабетта, у которой одно время жила белая крыса, бравшая лакомства прямо из рук. – Мосье Кезу – мужчина, а мужчины – плохие.

Пату так и прыснул со смеху.

– Мужчины – плохие! Да что ты можешь о них знать, глупышка моя маленькая?

– То, что сама видела, – отвечала Бабетта строго, как взрослая женщина, чей опыт куда как горек, и, не смущенная смехом родителей, продолжила: – Мужчины – гадкие. Мужчины – грязные. Они зовут: «Поди сюда, милая крошка, я тебе гостинчик дам»; а когда подходишь – с поцелуями лезут. А мне противно с ними целоваться, у них у всех изо рта воняет. Еще они мои волосы треплют и лохматят; мне это не по нраву, а они говорят, если так, значит, из меня кокетка вырастет. Диана де Пуатье ведь была кокеткой, верно? Получается, я буду как она?

– Да не допустят этого святые угодники! – вскричала мадам Пату. – А ты, доченька, не болтай глупостей. И вообще, спать пора. Анри, подойди к отцу; Жан, благослови детей, а я их в спальню отведу, пока архиепископ беседует с кардиналом, не то они его преосвященство вопросами забросают вроде тех, которые в катехизисе.

После сего наставления папаша Пату с нежностью поцеловал сына и дочь и осенил их лобики крестным знамением – совершенно как его собственный отец, который до смертного часа был верен этому ежевечернему ритуалу. Трудно сказать, что дети думали о самом акте благословения, зато ясно: если бы папаша Пату его не сотворил, итогом были бы горькие слезы Бабетты и демонический вопль Анри. Обладало

благословение мистической силой или нет, в спальню юные Пату отправились в умиротворении и в ладу друг с дружкой. Идя вслед за матерью, у двери кардинала дети по наитию стали на цыпочки и понизили голоса до шепота.

– Архиепископ ведь не ангел? – выдохнула Бабетта.

Мадам Пату ласково улыбнулась:

– Нет, конечно, доченька. Что за нелепый вопрос!

– Ты ведь сказала, что кардинал Бонпре – святой и к нему в гости вполне может слететь с Небес настоящий ангел, – объяснила Бабетта.

– В том-то и дело, что архиепископ не с неба спустился, а из своего дома пришел, да еще и с секретарем, – презрительно бросил Анри. – У ангелов секретари разве служат?

Бабетта хихикнула – так нелепа была идея об ангельских секретарях.

Дети как раз приблизились к деревянной лесенке, что вела в спальню; мадам Пату, пропустив их вперед, подняла свечу... Тут-то и донеслись до всех троих слова архиепископа, который, не иначе как в возмущении, сильно возвысил голос:

– Заявляю вам, что вы заблуждаетесь насчет вашего звания и положения!

И снова – только едва слышные, неразборчивые фразы.

– Они там ссорятся! Архиепископ рассердился! – с ухмылкой заметил Анри.

– Наверное, архиепископы не жалуют святых, – предположила Бабетта.

– Ах вы, глупенькие! Да ведь кардинал Бонпре – сам архиепископ! Значит, они вроде как братья, эти два почтенных и уважаемых монсеньора.

– Конечно, потому-то они и ссорятся, – не сдавался бойкий Анри. – Один мальчик в нашей школе говорит, что первыми братьями были Каин и Авель; они поссорились – и с тех пор нет таких братьев, чтобы обходились без ссор. Это у них в крови – так он говорит. Еще и оправдывается, когда колотит своего братишку. Ему-то самому двенадцать лет, а братишке только шесть – ясно, кто одерживает верх. Этого драчуна послушать – он иначе не может, ну, чтобы не драться. Он книжек начитался про психологию и наследственность, а там сказано: если ЧТО-ТО есть в крови, так ОНО ищет выхода и непременно найдет. Каин Авеля убил – потому и разные народы враждуют; а не убил бы – жили бы в мире и войн бы не было, ну а раз ОНО в крови у каждого, то...

Ход рассуждений прервала мадам Пату, принудив юного оратора встать на колени и прочесть молитвы, уложив его в постель и подоткнув ему одеяло. Анри забыл все, что имел сообщить о братских ссорах, и быстро заснул. Подготовка ко сну его сестры требовала больше времени. У Бабетты были прекрасные каштановые кудри, и мадам Пату всегда с особой гордостью их расчесывала.

– А может, я и стану как Диана де Пуатье, – вдруг выдала Бабетта, поглядевшись в зеркальце после того, как ее волосы были заплетены на ночь в косу. – Почему бы и нет?

– Потому что Диана де Пуатье была злодейка, – с жаром объяснила мадам Пату. – А ты должна учиться скромности и послушанию.

– Если она такая плохая, отчего тогда о ней до сих пор говорят, и легенды сочиняют, и дом ее всем показывают, и называют ее красавицей? – не унималась Бабетта.

– От глупости! – отрезала мадам Пату, теряя терпение. – Глупцы так и тянутся к злодейкам, а тем того и надо. А теперь прочти молитвы.

Бабетта покорно опустила на колени, закрыла глаза, сложила ладошки и проговорила привычные ежевечерние фразы, легонечко вздохнув после своего «акта раскаяния». Вверяя себя ангелу-хранителю, она сама выглядела сущим ангелочком. Наконец матушка поцеловала ее и оставила до утра со словами:

– Спокойной ночи, доченька! Думай о Пречистой Деве и святых угодниках, молись им, дабы хранили нас от всякого зла. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, – сонным голосом отозвалась Бабетта – однако Пречистой Деве и святым угодникам в ее мыслях досталось вдвое меньше места, чем блистательной Диане де Пуатье.

Немного найдется дочерей Евы, которые победительной власти предпочтут смирение. Зато сплошь и рядом девочки, только-только открывшие силу своих чар, находят, что власть Дианы де Пуатье над королем куда красноречи-

вее свидетельствует в пользу превосходства женского пола, чем фраза «Благословенна ты в женах» – ангельское приветствие, обращенное к единственной избранной Господом Непорочной Деве.

Глава III

Тем временем между архиепископом Руанским и кардиналом Бонпре имел место весьма щекотливый разговор. Даже при тусклом свете единственной лампы, что находилась в «лучших покоях» гостинички «Пуатье», было видно, сколь красив, фактурен, внушителен архиепископ. О, этот мощный торс и массивная голова гордой посадки, эти широкие плечи, вылепленные словно специально для лиловой сутаны, которая облекала их и всю архиепископскую фигуру подобно мантии самодержца! Правда, была и некая сомнительная деталь (она-то и сбивала благочестивый настрой зрителя), а именно золотое Распятие на цепочке. Вовсе не сакральным символом казалось оно, а тривиальной безделушкой, в то время как простое серебряное Распятие, что мерцало на черной с алым подбоем кардинальской сутане, определенно выглядело как знак святости. Ухищрения ювелирного искусства были бы тут излишни – посыл бил в глаза. Мелочь, скажете вы; допустим. Но такие вот мелочи нередко выдают истинный нрав обладателя. Точно так же, как на красной кухаркиной руке бриллиант чистой воды будет смотреться простой стекляшкой, простую стекляшку приравняет к истинным драгоценностям тонкий белый пальчик благородной, деликатно воспитанной дамы. То же и с символом Спасения: пока его носит архиепископ – это блестящая побря-

кушка; стоит же Распятию лечь на грудь Феликса Бонпре, как возвращается его изначальный священный смысл. Тем не менее в целом внешность говорила в пользу архиепископа. Кардинал, с его худобой и бледностью, с темными кругами под глазами (следствием скорбных раздумий), с многочисленными тонкими морщинками (свидетельствами преклонного возраста), не впечатлил бы человека светского, то есть судящего по одежке. О да, свет отдал бы предпочтение неотразимому архиепископу, который в свои пятьдесят пять сохранял осанку и замашки тридцатилетнего мужчины и чье свежее, сытое лицо, не запятнанное ни единой мрачной думой, свидетельствовало: этому человеку жизнь в радость, он себе ни в чем не отказывает. Все к его услугам: вкусная еда, мягкая постель, богатые одежды и прочие роскошества. Без них можно обойтись, но зачем, если они делают ход времени более плавным, хранят своего адепта от внешних коллизий, оставляя оные неугомонным самокопателям, слишком занятым совершенствованием души, чтобы еще и печься о телесном благе. Определенно, архиепископ был из другого теста. И даже более того: считал слишком глубокое погружение в себя вредным, а уж если являлась мысль, грозящая перерасти в действие, называл таковую пагубной и чуть ли не преступной.

– Мыслители, – заявил он некогда одному юному и ретивому послушнику, который жаждал стать слугой Господа, – как правило, являются социалистами и революционерами.

Церковь они оскорбляют, а для общества опасны.

– Но разве сам Господь наш не был мыслителем, а также и социалистом? – пролепетал послушник.

Архиепископ поднялся в полный рост и захохотал подобно грому:

– Если вы, сударь, являетесь последователем Ренана ¹⁵, лучше вам это признать до того, как вы продолжите свои занятия. Нынче у Церкви и без вас хватает проблем с отступниками, этими ничтожествами, этими вырожденцами!

Смущенным, озадаченным, оскорбленным покидал архиепископа юный послушник, но раскаяния не чувствовал, ведь, согласно Новому Завету, прав был он, архиепископ же заблуждался.

Если уж на то пошло, заблуждался архиепископ очень часто. Занятый исключительно собой, сам себя запеленавший в косные понятия о том, как следует жить, он почти не высывался из этого кокона в большой мир. Он упрямо отказывался задуматься о новых направлениях общественного мнения касательно религии и морали. Все, что архиепископ не умел объяснить, он просто отрицал; его предубеждения своей категоричностью соперничали с его же нетерпимостью к инакомыслию. Архиепископ был наслышан о праведной жизни и благодеяниях Феликса Бонпре (говорили о нем святые от-

¹⁵ Ренан, Эрнест (1823–1892) – французский историк религии, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса Христа» (опубл. в 1863 г.), в которой пытался избавить новозаветную историю от сверхъестественных элементов. Книга вызвала жаркие дискуссии и многочисленные критические статьи.

цы и высокопоставленные особы, связанные с Церковью, коих судьба занесла в отдаленный соборный город среди рослых сосен и вязов, где кардинал нес свою службу). Неудивительно, что архиепископу хотелось лично встретиться с человеком, который во дни, когда другие чревоугодничали и предавались прочим излишествам, имел безупречную репутацию и был уже при жизни причислен чернью к лику святых. Узнав, что Бонпре на пару дней задержится в Руане, архиепископ сердечно пригласил его провести это время в его доме, но получил, заодно с благодарностью, твердый отказ. Архиепископ такого не ожидал. Его изумление возросло, когда стало ясно: кардинал предпочел остановиться в трапезной гостиничке «Пуатье». Делать нечего – благочестиво пробормотав насчет смирения, которое паче гордыни, архиепископ доставил свою особу к дверям сего ветхого и убогого приюта, который за отсутствием современных удобств, таких как электрическое освещение, электрический дверной звонок и телефон, не мог быть рекомендован ни одному путешественнику. Тем не менее архиепископ считал себя обязанным нанести братский визит кардиналу, не ведавшему о том, как его превозносит молва. Теперь, в обществе кардинала, архиепископ ловил себя не только на чувстве крайнего разочарования – нет, он к тому же был в полной растерянности. Феликс Бонпре совершенно не соответствовал его ожиданиям. Если клирика при жизни почитают как святого, рассуждал архиепископ, уж наверное, такой клирик име-

ет огромный опыт; притом он должен быть хитер и ловок, видеть каждого человека насквозь со всеми его недостатками и умело использовать эти недостатки себе во благо. В самом архиепископе, изворотливом и прозорливом, было что-то от древнеегипетского чародея. Люди невежественны и наивны, думал он, а на ниве невежества и наивности можно разгуляться чудотворцу. И не все ли равно, чьим именем – Осириса или Иисуса – станет он вершить чудеса? И разве Аль-Муканна, «Покровенный Пророк» ¹⁶, чьи грехи были неисчислимы, не ухитрился внушить современникам, будто является святым? Короче, архиепископ Руанский, не располагая ни единым подтверждением своих домыслов, приготовился найти в Феликсе Бонпре проницательного, расчетливого ловкача, который упоенно играет роль святого, дабы слава о нем не ограничивалась пределами диоцеза, но продвигалась в Ватикан. Без сомнения, игра рассчитана на папу римского – так архиепископ объяснил себе святость кардинала. Тем досаднее ему было убедиться в своей ошибке. Он начал беседу с приветствия (то есть, по обыкновению, рассыпал перед кардиналом целую пригоршню фальшиво-сердечных фраз); Бонпре (также по обыкновению) явил сдержанную учтивость. Далее, архиепископ позволил себе прой-

¹⁶ Историческая личность по имени Хашим ибн Хаким. Жил в VIII в., был проповедником собственного учения, в котором причудливо переплелись мусульманство и мистицизм. Аль-Муканна (букв. «закрытый покрывалом») занимался естественными науками, носил зеленое покрывало, утверждая, что от его лица исходит ослепительный божественный свет.

тись насчет несоответствия между уровнем гостиницы и самом ее постояльца.

– Изволили проявить эксцентричность? – улыбнулся он заговорщицки и продолжал: – Принять вас в моем доме я почел бы за удовольствие и большую честь. Поистине, вы пренебрегли обычаями, ибо разве подобает князю Церкви оставаться в столь жалком приюте?

Тут кардинал Феликс Бонпре вскинул руку, будто слова архиепископа причинили ему боль.

– Простите, но я против этого определения – «князь Церкви». В Церкви нет князей, а если я ошибаюсь и они есть – значит, их быть не должно.

Архиепископ округлил глаза.

– Вот странное замечание! – воскликнул он. – Князья Церкви существуют с тех самых пор, как появились кардиналы. Вы же, будучи и кардиналом, и архиепископом, никак не можете не являться князем Церкви.

Феликс Бонпре вздохнул:

– И все же термин этот нехорош, да и неуместен. Церковь не имеет отношения к титулам – по крайней мере, не должна иметь. А касательно диоцезов я вот что скажу вам: по-моему, простой кюре, который денно и нощно находится со своей паствой, не ведает отдыха, трудится и молится ради духовного блага вверенных ему людей, достоин всяческого почитания не меньше, чем епископ, над ним стоящий, ибо епископу сан и должность не дают столько возможностей служить во

славу Господа. Здесь, на земле, в силу вечной человеческой вражды мы нечасто возвышаемся до беспристрастности, но на духовном уровне кюре и епископ, без сомнения, будут абсолютно равны между собой.

– Неужели вы действительно придерживаетесь подобных взглядов? – спросил архиепископ, чье изумление, судя по гримасе, возрастало с каждой минутой.

– Уверяю вас – да! – кротко отвечал Феликс Бонпре. – А ваши взгляды разве не таковы? Разве сам Учитель не говорил: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом»¹⁷? Разве не наставлял Он: «И кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится»¹⁸? Сколь просто сказано – и сколь правдиво! Двойное восприятие тут невозможно.

Архиепископ с минуту молчал.

– Увы, наставления Господа нашего не применимы к повседневной жизни в их буквальном смысле, – заговорил он вкрадчиво. – Если бы мы могли следовать им в точности...

– Мы ДОЛЖНЫ поступать именно так, – с жаром перебил кардинал. – Пусть миряне в большинстве своем к этому не склонны – мы, несущие веру Христову, обязаны жить и действовать по слову Его. По-моему – страшная догадка! – ересь и атеизм столь широко распространились по той причине, что мы, священники, слишком часто разочаровывали

¹⁷ Ев. от Матфея, 20:27.

¹⁸ Ев. от Матфея, 20:23.

паству, которой должны были служить примером.

– Уж не реформатор ли вы, отче? – добродушно, хоть и не без толики сарказма усмехнулся архиепископ. – Если да, то вы не одиноки: реформаторов нынче развелось немало!

– Нет, я вовсе не ратую за реформы, – отвечал кардинал, причем на его восковых щеках затеплился слабый румянец. – Я жажду утвердить – а не изменить – доктрину нашего Господа. Реформирование ей ни к чему – она ясна до прозрачности, лаконична, понятна даже малым детям. Ибо что заповедал Господь? «Паси овец моих»¹⁹. Я же в последнее время пребываю в мучительном недоумении: мне кажется, что овцы не насыщаются на пастбище, что, несмотря на обилие храмов и проповедников, голодают целые стада.

Архиепископ заерзал на стуле. Дух противоречия привычно восставал в нем, он жаждал резко возразить своему собеседнику. Однако гордыня уживалась в его сердце с низкопоклонством; он знал, что кардиналы выше архиепископов и что Феликс Бонпре является «князем Церкви», хоть и не приемлет этот титул. И точно так же, как в делах мирских низшие преклоняют колени перед высшими, архиепископ Руанский чуял необходимость компромисса с человеком, который в духовном плане был столь над ним превознесен. Потому-то он и тянул время.

– Мне кажется, – наконец заговорил архиепископ со всей возможной осторожностью, – что вы, отче, слишком близ-

¹⁹ Ев. от Иоанна, 21:16.

ко к сердцу принимаете эту проблему. Никак не могу согласиться с вами в вашем предположении, будто голодают целые стада. Христианство распространилось на лучшую часть цивилизованного мира, где живут люди наивысших интеллектуальных способностей. Наша доктрина исподволь учит их снисходительности, так что они мало-помалу отходят от изначальной пристрастности. Если вспомнить, какое варварство царило на земле до пришествия Христа...

– Варварство? – с полуулыбкой перебил Феликс Бонпре. – Неужели вы назовете варварами жителей Тира и Вавилона с их страстью к роскошествам? Неужели для вас варварами являются граждане древних Афин и Рима?

– Все они язычники, – наставительно изрек архиепископ.

– Но еще и мужчины и женщины, – возразил Бонпре. – Их души тоже бессмертны. Каждый из них – кто успешно, а кто и не слишком – стремился постичь, что есть добро. Конечно, в те времена – впрочем, как и ныне – идея добра еще была заслонена суевериями, мифами и языческими обрядами; однако мир стремится и всегда стремился к Добру. Человеческий разум изначально настроен на Добро, а не на зло; это заложено в людях, и если не все они способны облечь эту истину в слова, то уж, во всяком случае, чувствуют ее на глубинном уровне. Я согласен, нам сейчас диковинными кажутся древние понятия о чести; но сама-то честь жила в умах и душах древних людей, хотя и в искаженном виде, не обретшая еще благородного совершенства. Нет, нельзя нам

самодовольно называть варварами тех, кто населял землю до пришествия Христа. Без сомнения, в древности люди были жестоки и несправедливы, но, к прискорбию, таковы они и сейчас! Целых восемнадцать столетий проповедуется учение Спасителя, но ни единая душа пока до конца не очищена от сих укоренившихся грехов.

– Сколь сурово вы судите, отче! – воскликнул архиепископ.

Кардинал Бонпре, возражая, поднял взор своих кротких синих глаз.

– Сурово? Я? Господь да хранит меня от суровости и от искушения судить любую из несчастных душ, которая придет ко мне, жаждающая сострадания! Я никого не сужу – я только чувствую. И мои чувства, должен признаться, уже давно пронизаны горечью.

– Горечью? Но почему же?

– Потому что я с некоторых пор убежден: если бы наша Церковь ни в малейшей степени не нарушала заветов ее Божественного Основателя, мы не сталкивались бы сейчас ни с ересями, ни с отступничеством и давно на земле было бы уже «одно стадо и один пастырь»²⁰. Но поскольку мы, служители веры, упорно занимаемся делами житейскими вместо дел духовных, миссия наша будет провалена, примерами для подражания мы не станем, новых чад не привлечем, а уже имеющихся оттолкнем. Подумайте, ведь нынче даже де-

²⁰ Ев. от Иоанна, 10:16.

ти задаются вопросами: а вправду ли мы, священники, призваны, вправду ли избраны?

— Еретики и безбожники были всегда, — возразил архиепископ. — Они есть сейчас и, судя по всему, никуда не денутся в будущем.

— Еретики и безбожники не переводятся по нашей вине — таково мое дерзкое убеждение, — парировал кардинал. — Если бы мы своим образом жизни не принизили святую нашу веру, в мире не осталось бы места для ересей и безбожия. Церковь сама создает условия для отступничества.

Породистое лицо архиепископа сделалось пунцовым.

— О, как вы меня удивляете подобными словами! — заговорил он, несколько возвысив голос, ибо уже с огромным трудом скрывал негодование. — Простите, но из ваших речей следует, что вы сомневаетесь в способности Церкви противостоять неверию.

— Я говорю то, что у меня на сердце, — мягко отвечивал кардинал. — И я действительно сомневаюсь — вы угадали, — хоть и не в принципиальных пунктах нашего вероучения, ни в коем случае не в божественной сути Христа и не в том, что, живя по Его заповедям, человек спасает свою бессмертную душу. Но, если вы поинтересуетесь: как, на мой взгляд, — мы и правда живем по божественным заповедям? — я буду вынужден признаться в своих глубоких сомнениях.

— Сын Церкви, избранный Ею князем и Ею возлюбленный, сомневаться не должен! — категоричным тоном заявил

архиепископ.

– Ах, мы вернулись туда, откуда начали, – вздохнул кардинал. – Я ведь уже говорил, что не приемлю определение «князь Церкви». Пред лицом Владыки Небесного все чада равны, мы же упорно грешим, разделяя людей по сословиям, обласкивая тех, кто напоказ усерден в исполнении обрядов. А ведь сама идея фаворитизма противна христианству.

Архиепископ больше не скрывал раздражения.

– Боюсь, вы заигрались с идеями спорными и вредными, – нетерпеливо сказал он. – Вы заблуждаетесь относительно вашего призвания и положения.

Именно эти слова уловили своими чуткими ушками брат и сестра Пату, идя в спальню; именно эта фраза побудила Анри объявить, что архиепископ и кардинал ссорятся. Феликс Бонпре, впрочем, выслушал гневное замечание с полной невозмутимостью.

– Да, наверное, так и есть, – заговорил он примирительно. – Все мы склонны заблуждаться. Я считаю себя слугой Христа; слугой, задания для которого Божественный Господин Сам облек в простые и понятные слова. Мое дело – выполнять все с максимальной точностью, без отступлений. Я, видите ли, поставлен быть духовным главою крошечного диоцеза, где люди, за редким исключением, живут скромно, никому не делая зла. Но сколь прискорбную самонадеянность и узколобость я бы проявил, если бы позволил себе закоснеть разумом в сих тесных пределах своего влияния! По

большей части моя паства не обременена образованностью и понятия не имеет о том, сколь извилисто основное русло жизни. Случается, то одно мое духовное чадо, то другое начинает томиться на безмятежных нивах среди тихих рощ и с надеждами и пылом, свойственными юности, отправляется в большой мир за лучшей долей. Некоторые возвращаются, прочие исчезают навсегда. Но и в тех, кто вернулся, я не могу узнать юношей и дев, которых наставлял в вере, которым давал благословение прежде, чем они покинули отчий дом. Юноши становятся вертопрахами, черствеют душой, не могут думать ни о чем, кроме золота – добытого или утраченного. А девы – девы погублены навек!

Феликс Бонпре сделал паузу. Архиепископ молча ждал.

– Я сердечно привязан к своей пастве, – с чувством продолжал Бонпре. – Не бывает так, чтобы в нашем древнем соборе окрестили младенца, а я не помолился бы о его будущем – о том, чтобы в нем гармонично соединились божественное и человеческое, ибо Господь учит, что в таком единении – высшее благо жизни, кое Ему угодно видеть в тех, кого Он зовет своими чадами. Да, я люблю свою паству! Поэтому, когда юноша возвращается после странствий с разбитым сердцем, я не упрекаю его. Мое собственное сердце дало трещину, ведь я насмотрелся на прискорбные трансформации, произведенные широким миром в моих подопечных. Печалась о них, я исподволь проникся состраданием ко всем прочим людям; я задумался, какая язва разъедает чи-

стое золото невинности и лишает жизнь главных радостей? Ибо, если нами действительно правит дух Иисуса Христа, значит, невинность должна быть неприкосновенной святыней. Жизнь должна порождать счастье. Я занимался науками, много читал и много размышлял; я не просто объясняю свои чувства – я знаю, о чем говорю. Брат мой! – Под влиянием порыва кардинал внезапно поднялся и простер руки к архиепископу. – Дух Иисуса Христа на самом деле НЕ правит миром – и это моя великая боль! Нынешнее поколение вновь распяло Спасителя, а Церковь, ничего не предпринимая, своим молчанием дозволила повторное убийство!

Потрясенный искренностью Бонпре, архиепископ в свою очередь вскочил и отверз уста, желая заговорить; но его негодующий взгляд столкнулся с прямым, уверенным, твердым взглядом кардинала, и слова застряли в архиепископском горле. Он потупился; его величаява фигура как бы умалилась, хоть и всего на миг. Подобно вдохновенному апостолу, с простертой рукой стоял Феликс Бонпре, весь во власти одной сильнейшей эмоции.

– Вы сами знаете, что я прав, – продолжал он чуть тише, но с той же страстью. – Вы знаете, что нашего Учителя ежедневно увенчивают новыми терниями и подвергают новым пыткам! Вы также знаете, что мы, священники, бездействуем! Мы стоим подле Него, вторично принимающего крестные муки, и молчим, будто не понимая, что происходит! Мы МОГЛИ БЫ заговорить, но выбрали молчание – и это вам

тоже известно. Мы страшимся химер – таких, как правительства, полиция и условности; страшимся их сильнее, чем великого, истинного суда над миром – суда, который неминуемо свершится!

– Обо всем этом говорилось и раньше, – завел архиепископ, когда совладал с минутным замешательством. – Вдобавок, как я уже вам заметил, вы, к сожалению, забываете, что еретики были с самого начала.

– Нет, я помню, помню! – вздохнул кардинал. – Разве такое забудешь! Еретики, которых мы подвергали неслыханным страданиям и сжигали заживо, дабы подтвердить, что любим Иисуса Христа и чтим Его кротость!

– Слишком уж вы далеко забрались в глубь времен! – с поспешностью отозвался архиепископ. – Да, поначалу – исключительно от переизбытка рвения – мы совершали ошибки, но сейчас... сейчас...

– Сейчас мы делаем ровно то же самое, – перебил Бонпре. – Мы заменили физическое уничтожение еретиков на моральное – и только. Мы осуждаем каждого, кто нам противоречит. Мы расправляемся с людьми благородной души и глубокого ума, в своей надменности проклинаям их, грозя вечными муками, а должны бы вникнуть в суть их мудрости, собрать жемчужины их знаний, ибо они есть новые доказательства деятельного Божественного присутствия в мире! Возьмите хотя бы дело Галилео Галилея – какое непробиваемое упрямство явила в нем Церковь! Галилей доказы-

вал существование Бога уже одним тем, что говорил правду, ибо правда, чего бы она ни касалась, всегда есть Божий знак. Если бы Галилей изложил свои теории перед нашим Божественным Владыкой, они бы не были отвергнуты! Разве хоть единожды Христос обрек на пытку человека, который в Него не верил? Нет! Он дал пытать Себя Самого, но для Своих мучителей имел только одну молитву: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» ²¹. НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАЮТ! Служители Истины тоже должны скорее страдать сами, чем мучить других. Ужасы инквизиции пятном легли на всю историю христианства; наш Учитель никогда не заповедовал нам сжигать и пытать людей за веру. Он ждал и ждет от нас любви к человеку, Он учил, что паству надобно вести к спасению, как пастух ведет домой стадо. Повторяю: безбожие иссякло бы само собой, если бы мы – слуги Господни – строго следовали Его заповедям.

К этой минуте архиепископ вполне вернул самообладание. Он вновь уселся; на Феликса Бонпре, который продолжал стоять, он глядел с любопытством и толикой жалости.

– Вы слишком много думаете об этом, – заговорил он, желая успокоить кардинала. – Вы изнурили себя занятиями и чрезмерным рвением. Во многом вы, быть может, и правы, но Церковь – наша Церковь – продолжает выситься посреди бурного моря противоречий, а мы, ее слуги, делаем все, что в наших силах. Я лично склонен считать, что множество

²¹ Ев. от Луки, 23:34.

спасенных душ перевешивают множество душ заблудших.

– Вашей способности утешаться подобными соображениями впору позавидовать, – произнес Бонпре, снова садясь напротив архиепископа. – Я, наоборот, «множество заблудших душ» ставлю в вину нам, священникам; и сколь же это горько! Во всяком случае, мы могли бы больше усилий предпринять для их спасения. – Бонпре умолк, утомленно прикрыв ладонью лоб. – По правде говоря, это моя давняя боль; я весь извелся, а поникший дух, в свою очередь, подорвал и мое телесное здравие. Я скоро сойду в могилу и должен буду дать отчет о моем земном служении. Я едва держусь под гнетом фактов, которые свидетельствуют о том, что зло захватывает мир.

– Это не ваша вина, – сказал архиепископ. – В своем диоцезе вы ревностно исполняли свой долг, а большего от вас и не требовалось. Вы старались служить людям, и недаром ведь молва о ваших благих делах докатилась до...

– Не верьте молве, – перебил кардинал почти сердито. – Я ничегошеньки не сделал! Моя жизнь текла слишком плавно, на меня прямо-таки сыпались незаслуженные дары. О, как я страшусь, что спокойствие и благополучие превратили меня в эгоиста! Мне следовало еще много лет назад поискать иное место, избрать иной путь – такой, который потребовал бы от меня настоящих трудов. Почему я не ринулся в гущу религиозных дискуссий, почему не проповедовал с должным пылом, не помогал хворым, не пострадал за веру? Время упу-

щено безвозвратно!

– Вам ли говорить об упущенном времени? Вы, пожалуй, еще займете трон Святого Петра ²²!

Бонпре так и вскинулся.

– Боже сохрани! Лучше смерть! Я никогда не хотел властвовать – только помогать и утешать. Но шестьдесят восемь прожитых лет тяжело легли на мои плечи. Я больше не годен, чтобы носить меч и щит – атрибуты энергичного мужчины. Я старик! Старик! Полезные труды уже не по мне. Вот почему я так досаую на безмятежное время, проведенное мною среди простых людей; на пасторальную прелесть природы, которая добавила ему сладости! Горечь широкого мира стучится в мое сердце и причиняет боль! В собственном понимании я – один из тех, кто, сложа руки, безмолвствуя, наблюдает повторную смерть Учителя!

Архиепископ уже не противоречил кардиналу. На его самодовольном лице появилось, бог весть откуда, виноватое выражение, как если бы некая постыдная тайна вдруг выплыла из тьмы прошлого на яркий дневной свет во всей своей мерзкой наготе. Золотое Распятие покачивалось на мощной груди архиепископа, ибо он теперь дышал прерывисто и трудно. Глаз он не смел поднять, но, выдержав паузу после тирады Бонпре, все-таки произнес:

– Повторю свои слова: вы слишком утруждаете себя размышлениями. И вообще вы слишком чувствительный чело-

²² То есть «станете папой римским».

век. Я согласен, нынче мир полон ужасных ересей и открытого богохульства, но этого ведь и следовало ожидать, ибо разве не заповедано нам было «страдать за правду» ²³?

– Вот именно: нам! – вскричал Бонпре. – Нам и Церкви в нашем лице! Мы должны страдать за правду, но в своем эгоизме не помним, что это вовсе не страдание, если сохраняется власть нашей веры! Страдают на самом деле еретики и богохульники, которых мы обрекаем на страдания – точнее, на пытки – конечно же, ради правды!

– Разве совместимы еретик – и правда? – удивился архиепископ. – Разве еретик изначально не проклят за свою ересь?

– Спаситель учил, что прокляты только предатели – иначе говоря, лживые люди. Если человек сомневается, лучше ему признаться в этом, нежели притворяться верующим. У тех, кого мы клеймим словом «еретики», может быть свое понятие об истине. Они могут возразить нам: дескать, не приемлем доктрину, которая настолько нетверда в собственных догматах, что жестоко осуждает всякого, кто им не следует. А ведь сам Божественный Основатель прямо сказал: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир» ²⁴. Ну а мы, Его последователи, только судим, а никак не спасаем. Мы судим

²³ Первое послание ап. Петра, 3:14. Полностью стих звучит так: «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны».

²⁴ Ев. от Иоанна, 12:47.

безбожника, но не исцеляем его от неверия. Мыслитель заранее приговорен нами к вечным мукам. Ученый, объясняющий, как величие и мудрость Господа Бога проявляются во вспышке молнии и росте цветка, по нашей логике, разрушает религию. Мы продолжаем навязывать свое мнение, громогласно накладываем запреты, во всеуслышание отлучаем от Церкви своих же братьев, то есть действуем в полном противоречии с заповедью «Не судите, да не судимы будете»²⁵.

– Вижу, спорить с вами нет смысла, – заключил архиепископ. Улыбка, стоившая ему немалых усилий, плохо маскировала раздражение. – Вы склонны принимать сказанное в Священном Писании за абсолют и терзать свой дух фантазией, будто не исполнили обязанности, которые никто на вас и не возлагал. Наша Церковь – это система; она зиждется на учении Господа, но приспособлена под нужды современной цивилизации. Человеку невозможно буквально следовать заповедям Христа.

– Мирянам, пожалуй, и впрямь затруднительно; однако мы, слуги Веры, должны все силы на это бросить, – твердо отвечал Бонпре. – Я от своих утверждений не откажусь. Да, Церковь – и впрямь система; но вот которое из учений образует ее фундамент – учение ли Христа, Чья суть божественна, или учение апостола Павла, который ничего божественного в себе не имел? Вот какой вопрос меня мучает, друг мой.

²⁵ Ев. от Матфея, 7:1.

– Святой Павел был вдохновлен самим Господом нашим, – возразил архиепископ. – Я не ожидал, что вы допустите хотя бы толику сомнений насчет праведности сего апостола!

– Я не принижаю святого Павла, – тихо отвечал Бонпре. – Это был одаренный и умный человек – вот именно «человек», а не «Богочеловек». Христос так построил Свое учение, что оно не допускает раскола; но, истолкованное Павлом, оно спровоцировало возникновение сект, враждующих с небывалой непримиримостью.

– Ваше мнение для меня неприемлемо, – уронил архиепископ.

– А я и не жду, что со мной будут соглашаться, – Бонпре чуть улыбнулся. – Мнение, если оно сразу всеми принимается, не стоит и иметь! Я честен перед собой; и я не считаю, что мы приспособили Церковь-систему к нуждам современной цивилизации. Наоборот, мы, видимо, сплеховали, не то в христианском мире не раздавались бы сейчас столь душе-раздирающие мольбы о помощи и утешении. Мы ведь больше не способны с прежней уверенностью нести людям слово Божие. Мы предлагаем только смутные надежды и сомнительные посулы. И кому? Тем, кто жаждет припасть к роднику спасения и жизни вечной! Право, похоже, что мы сами сомневаемся в существовании Бога, потому и других убедить не можем. А это дурно! О, как это дурно! Возмездие и катастрофа неизбежны. Будь я помоложе, я бы сумел выразить-

ся яснее; но моя душа отягощена думами, для которых я не нахожу слов; скорее это даже не думы, а предчувствия: скоро явится зло. Взять хотя бы нынешний день. Я около часа провел в Соборе, внимая звукам органа...

Архиепископ вздрогнул:

– Что вы сказали?

– Я сказал, что был в Соборе и слушал, как играет большой орган... – начал кардинал, но архиепископ перебил его:

– Большой орган! Не иначе это вам приснилось! Вы не могли слушать музыку в Соборе, ведь знаменитый старинный орган совсем обветшал. К нему давно уже никто не прикасался. Во время службы используется гораздо меньший инструмент; он установлен на хорах слева. Но и на нем никто сегодня не играл, ибо для этого надобно иметь ключ, который находится у органиста. Органист же сейчас в отъезде.

Кардинал опешил.

– Вы уверены? – спросил он с запинкой.

– Абсолютно уверен! – улыбнулся архиепископ. – Нет, я не отрицаю: вы могли слышать музыку, ибо перенапряжение нервов нередко шутит с нами такие шутки. Оно же – причина вашей изможденности и упадка духа. Из-за него все – общественное устройство и вера – предстает вам в мрачных тонах. Вы нездоровы и расстроены, но достаточный отдых и смена обстановки явят вам действительность в совершенно ином свете. Ни на миг не поверю, будто вы придерживаетесь взглядов, противоречащих традиции, хотя из ваших

фраз это и следует. Но приписать вам столь спорные мнения может только человек, не угадавший вашего истинного нрава. — Архиепископ рассмеялся добродушно и облегченно. — О, какое это было бы заблуждение! Кардинал-архиепископ Святой Матери-Церкви просто не может выдвигать подобные обвинения Ее служителям, если только не страдает депрессией, которая, как всем известно, коварна тем, что застит мраком даже белый день. Долго вы пробудете в Руане?

— Нет, — машинально отвечал Бонпре, чьи мысли блуждали в дальней дали. — Завтра я уезжаю в Париж.

— В Париж? А потом куда?

— В Рим с моей племянницей, Анжелой Соврани; она в Париже только меня и дожидается.

— Вы, наверное, очень ею гордитесь? — с сердечностью произнес архиепископ. — Еще бы! Имя Анжела Соврани у всех на устах. О ней говорят как о великой художнице, превозносят ее удивительную одаренность.

— И впрямь, Анжела недурно рисует, — молвил кардинал. — Но ей нужно еще очень многому научиться. А сейчас бедняжка одинока как никогда. Ее мать умерла в прошлом году, и это стало для Анжелы жестоким ударом.

— Ее матушка доводилась вам сестрой?

— Да, притом единственной. Что это была за женщина — добрая, кроткая; да покоится ее душа с миром! После замужества она поневоле вращалась в свете, но свой нрав сохранила прежним. Мой зять, князь Соврани, постоянно устраи-

ивал приемы в своем палаццо, куда стекались, кажется, все вертопрахи Рима. Теперь привычки князя круто изменились. Печаль вытеснила веселье из его дома, и Анжела живет отшельницей.

– Да ведь она, если не ошибаюсь, помолвлена с прославленным Флорианом Варильо?

Ясные глаза кардинала вдруг потемнели, словно от болезненной спазмы.

– Не ошибаетесь. Только они почти не бывают вместе – вам известно, до чего строги в Риме правила этикета. Редкость встреч и, боюсь, недостаточная информированность – вот удел Анжелы. Остается уповать на лучшее. С другой стороны, моя племянница чрезвычайно ранима, наделена редким талантом и притом честолюбива; порой мне страшно за ее будущее.

– Снова депрессия! – воскликнул архиепископ, вставая (он собрался уходить). – Поверьте, в этом мире немало прекрасного – при условии, что глядишь незамутненным взором. Дела никогда не бывают настолько плохи, насколько нам представляется. У вас же, по-моему, менее всего причин для меланхолии. Жизнь ваша благополучна и праведна, добрыми делами вы заслужили безупречную репутацию, паства души в вас не чаёт. Хотя жребий ваш – безбрачие, Небо даровало вам племянницу, которую вы любите так же сильно, как любили бы дочь, будь она у вас. Притом ваша племянница уже сейчас занимает почетное место в ряду великих

живописцев. Она снискала признание в мире искусства, она хороша собой, она неординарна. Чего же вам еще желать?

Архиепископ широко улыбался, произнося свою речь; кардинал смотрел на него твердым взором.

– Я ничего не желаю. И никогда не желал! Я уже говорил вам, что мною получено слишком много незаслуженных благ. И томит меня не личная нужда, и не о себе я сокрушаюсь. Я охвачен ощущением, что в жизни все устроено неправильно; я жажду истины; я лью слезы за тех, кто потерял ориентир; за тех заблудших, кого могла бы спасти Церковь!

– Ну и фантазии у вас! – заметил архиепископ. – Сначала музыка в Соборе, теперь вот это. Обуздывайте воображение, особенно когда речь о Церкви, не то оно возьмет над вами верх. Если на обратном пути из Рима поедете через Нормандию, я буду рад увидеться с вами. Могу я надеяться, что вы окажете мне эту честь?

– Пути мои для меня темны, – кротко отвечал Феликс Бонпре. – Но, если мне доведется вновь оказаться в Руане, я, конечно, дам вам знать и воспользуюсь вашим дружеским гостеприимством, если таково будет ваше желание.

На сем высокопоставленные особы обменялись рукопожатием, и архиепископ покинул кардинала. Со всеми предосторожностями спустился он по расшатанной лестнице, а на выходе из тесного коридорчика был встречен Жаном Пату. Хозяин гостиницы держал над головой свечку.

– Темно здесь, монсеньор, – заметил он извиняющимся

тоном.

– Очень темно, – подтвердил монсеньор, споткнувшись и чувствуя потребность перейти на лексикон, принятый в миру. – Что за жалкая нора это ваше заведение!

– Мы гостиницу держим для тех путников, которые бедны, – смиренно отвечал Жан Пату. – А бедность – не преступление, монсеньор.

– Конечно, не преступление, – согласился осанистый слуга Церкви, добравшись до дверей. Переступить порог он не спешил; он улыбался, отчего на гладких щеках появились ямочки, а под небольшими глазками залегли добродушные морщинки. – Не преступление, а неудобство!

– Кардинал Бонпре ничего такого не говорил, – заметил Пату.

– Кардинал Бонпре либо святой, либо глупец! Запомните это, милейший Пату! Доброго вечера и да пребудет с вами мое благословение!

Продолжая улыбаться, архиепископ вальяжной походкой пересек площадь; он направлялся к своему особняку, где его ждал ужин. Луна взошла над горизонтом и теперь поднималась как раз между двумя высокими башнями руанского собора, щедро заливая землю чистейшим серебром и словно бы смеясь над Жаном Пату, который все еще стоял на пороге со свечкой, чей слабый язычок совсем потерялся в лунном сиянии.

– Либо святой, либо глупец, – пробормотал Жан Пату и

усмехнулся. — Что ж, зато насчет нашего архиепископа можно не сомневаться: он ни то ни другое!

Постояв еще немного, Жан Пату вошел обратно в дом, закрыл дверь настолько плотно, насколько она позволила себя закрыть, и скоро уже был в постели, нагретой мадам Пату. Полнейший покой и глубокая тишина царили в гостиничке. Не спал один только Феликс Бонпре. Прежде чем лечь, он целый час провел над раскрытым Евангелием; он читал внимательно и вдумчиво, ибо его тяготила новая тревога. Вдруг он болен куда серьезнее, нежели ему представлялось? Архиепископ заверил, что никакой музыки в Соборе нынче быть не могло; но ведь слышал же Феликс торжественные, завораживающие звуки! Неужели у него душевная болезнь? Неужели он видит и слышит то, чего нет? Тогда, значит, скорби мира — лишь плоды его расстроенного воображения и Церковь на самом деле беззаветно следует дивным, идеальным заветам Христа? Феликс Бонпре пытался взглянуть на вещи с иной точки зрения, пытался обнадежить себя, но тщетно. С медленной неумолимостью в нем крепла убежденность, что христианство вовсе не является ни верховной созидательной силой, ни живительным принципом человеческой жизни, то есть тем, чем должно было стать. Чем дальше Бонпре читал Евангелие, тем сильнее проникался мыслью, что Церковь как система прямо противоречит Христовым заповедям; мало того, с каждым годом Церковь отдаляется от Христа.

«Может быть, музыка мне действительно пригрезилась, —

рассуждал кардинал Феликс, — но разлад в мире звучит куда как явственно, уж он-то — не плод моих фантазий. Казуист от веры, пожалуй, возразит: так, мол, было суждено, сам Христос предрек ереси и раскол, вот же Его слова: “По причине умножения беззакония, во многих охладееет любовь”²⁶. Пусть так; это не оправдание для Церкви, впавшей во грех попустительства. Кажется, мы так и не сумели уразуметь одну истину, а именно: учение Христа есть учение Господа Бога, и оно не застыло в изначальной форме Священного Писания. Оно развивается по сей день — с каждым научным открытием, каждым событием в жизни любой из стран. Что бы мы ни делали, о чем бы ни думали, какие бы планы ни строили, Божественная воля передается нам, и происходит это с тех пор, как Господь сошел на землю в облике человека, дабы явить людям, что и они в свою очередь могут стать богами. Вот об этом-то мы и не помним, никогда не помнили. Вместо того чтобы принимать каждую истину, мы восстаем против нее, отвергаем ее, как Иуда отверг Христа. Это против природы, это жестоко. А что до распрей на религиозной почве, не надо им удивляться, не надо ставить их людям в вину, ибо есть явная и прискорбная причина того, что они длятся и усугубляются».

Кардинал закрыл священную книгу и, будучи изнурен телом и духом, наконец-то дал себе отдых. Лежа на жесткой и узкой кровати (лучшей во всей гостинице), он, как все-

²⁶ Ев. от Матфея, 24:12.

гда, прочел молитву: «Если не суждено мне очнуться от сего сна, прими, Господи, душу мою!» Кардинал не сразу закрыл глаза; некоторое время его взор упивался белизною лунного света, что проникал сквозь окно со свинцовым переплетом, рисуя на голом деревянном полу тонкие серебряные кружева. С подушки кардиналу были смутно видны силуэты соборных колоколен, в лунном сиянии подобные черной массе. О, Собор, памятник полузабытой истории, вековая мечта, место возвышенных молитв и продиктованного отчаянием богохульства! Молитвы и хула произносились перед алтарями, их адресовали Богочеловеку многие, и многие ныне мертвые. Богочеловек – сколько еще миру ждать, пока Он вновь придет? Ибо это событие определенно станет финальным триумфом христианской веры.

«Мы давным-давно могли бы одержать победу, – думал кардинал Бонпре, – но сами установили камни преткновения и сами на каждом шагу отрекаемся от Бога».

С тем он закрыл глаза и вскоре забылся сном. Лунные лучи падали на его восковое лицо и седые волосы, как если бы святое благословение сделалось зримым. Гулкий и ласковый колокольный звон отмечал ночные часы, не прерывая сон кардинала. Но не было ему покоя даже и теперь – ни с чем не сообразные видения грезилась Феликсу Бонпре.

Глава IV

Как страх перед страданием всегда ужаснее самого страдания, так и сны очень часто ярче реальной жизни (конечно, если считать жизнь реальностью, а не сном во сне). Кошмары обычно не тревожили кардинала, ведь он избегал вредных излишеств, а совесть его была кристально чиста. Однако той ночью ему явился не сон, не кошмар – нет, Феликс Бонпре сполна прочувствовал чудовищный гнет вселенской тоски. Впечатление было такое, будто из целого мира выкачаны жизненные силы и пустая оболочка брошена валяться на кромке Времени. Кардинал, раздавленный отчаянием, которое внушает человеку невозполнимая утрата, вдруг испытал приступ страха. Ему показалось, что готовится полная трансформация для всего знакомого и родного, что оно обречено на уничтожение. Надвигалась катастрофа, бедствие, не виданное доньше; спасения человечеству не было. Перед взором Феликса Бонпре поднялась завеса – нечто среднее между морским туманом и пламенем; затем она стала рассеиваться, распалась на огненно-пепельные змеистые извивы. Кардинал обнаружил, что стоит на морском берегу, но не земной синевой и не заоблачным светом полна бескрайняя гладь – нет, она горит, словно в ней отражаются миллионы сверкающих, остро отточенных мечей. Между тем небеса почернели, и на востоке вместо благодатного солнца возо-

шел огненный круг – гигантское кольцо, изрыгающее потоки пламени столь мощные, что море начало испаряться. Загрели громовые раскаты, к ним прибавился грохот морских валов и рев урагана, и звуки эти словно породили Голос.

– Настал конец всему сущему на земле! Весь мир будет сожжен, вспыхнет и сгорит, как сухой листок! Мы же сотворим из пепла новые небеса и новую землю и призовем новых обитателей, дабы населили они наше незапятнанное творение. Ибо нынешний род людской отверг Господа – а Господь за это отвергает Свои создания, неверующие и недостойные! Посему да погаснет эта искра – жалкая среди тысяч миллионов более ярких искр; да сойдет с орбиты планета, которую все ангелы зовут Скорбной Звездой, и да не вернется на путь свой. Солнце же, кое согревало и питало ее, да станет ей Разрушителем, и да сгинет навеки все живущее на ней, и да не возродится никогда!

Феликс Бонпре выслушал сей приговор. Не в силах шевельнуться или молвить слово, он наблюдал, как ширится огненное кольцо, как видимая ему часть Вселенной истаивает в алом горниле. Надежда оставила кардинала. «Спасения нет», – думал он, уже зная: чудовищная разрушительная работа свершится с неумолимой быстротой, жуткая огненная воронка всосет все народы, будто разрозненные соломинки, парящие в пустоте, и никто не успеет ни прочесть напоследок молитву, ни даже исторгнуть стон. Раздавленный смертной тоской, которая так мучительна, что не дает заплакать,

Феликс Бонпре тем не менее внезапно обрел дар речи и воззвал к зловеющим небесам:

– Господь Вседержитель, останови десницу Свою! В последний раз яви милость! Не обрекай создание Твое – Человека – на гибель без надежды! Помни, что и Ты родился человеком! Ты тоже был беспомощен и неразумен, Тебя искушали, Тебя предали, и Ты страдал, ибо по человеческой природе ведал телесную боль и смерть! Ты прожил земную жизнь, снося человеческие горести, хотя и не грешил, имея Божественную природу. Имей же и терпение, о Ты, Преславный во всех мирах! Имей терпение, Создатель, разгневанный хулою людскою! Нарушь Свое молчание, молви нам, как молвил в древние времена! Сжался над нами вновь, пока не уничтожил нас! Приди к нам, как пришел в Иудею, и мы примем Тебя и внемлем Тебе, и уж больше не отвергнем любовь Твою!

Феликс Бонпре еще не окончил своей речи, когда внезапно был парализован страхом, ведь над его запрокинутой головой произошла новая трансформация – пламень небесный погас, высь замерцала подобно жемчугу. Бонпре ощутил присутствие некоей огромной, хоть и невидимой Сущности, чья грозная красота, не воспринимаемая глазами, потрясла душу кардинала цельностью и величием, так что он забыл себя самого. И снова раздался Голос, причем торжественные, сладостные, умиляющие звуки Некто словно нашептывал кардиналу на ухо:

– Твоя молитва услышана, и молчание будет нарушено вторично. Так помни же, что «свет во тьме светит, и тьма не объяла его» ²⁷.

Наступила тишина. Таинственная Сущность растаяла в пространстве, и кардинал проснулся с жестокой дрожью, в холодном поту. Он начал озираться, не понимая, где находится, ибо его душа пребывала под сильнейшим впечатлением и картины хаоса не отпускали ее. Впрочем, уже через миг он узнал убогую обстановку и разглядел за окошком силуэты колоколен, как бы раздробленные ромбиками стекол, озаренные серебряным светом высоко стоявшей луны.

– То был сон, – выдохнул кардинал. – Высшие силы явили мне конец света!

Он поежился, вспомнив приговор Земле – планете, «известной среди ангелов под именем Скорбной Звезды»: «Да станет Солнце, кое согревало и питало Землю, главным ее Разрушителем».

Согласно выводам современной науки, конец мира наступит именно таким образом. Но что может быть ужаснее, чем знать: славному Оку небесному, творящему день и созидающему всю земную красу, в будущем суждено исторгнуть из своего нутра гибель и разрушение, причем на планету, которую оно же само согревало, наполняло жизнью! Но разве не явилось кардиналу Бонпре губительное кольцо огня, да еще как раз в той четверти небес, где восходит Солнце? Чем

²⁷ Ев. от Иоанна, 1:5.

больше кардинал анализировал свой сон, припоминая слово в слово отчаянную мольбу к самой Вечности, тем сильнее охватывали его тревога и ужас.

– Не могут быть изменены Господни заповеди, – заговорил он вслух. – За каждый дурной поступок последует кара; если же зла в мире скопилось слишком много и Господу немоготу взирать на него, значит, мир должен быть уничтожен. Кто я такой, чтобы в молитве восставать на Божественную Справедливость? Нам, людям, был дан шанс на спасение, нам указали Путь к Истине, за нас пожертвовал жизнью Христос-Искупитель. Отвергая Его, мы отвергаем все сущее, и винить нам надобно себя самих.

Едва Феликс Бонпре замолчал, как жалобный плач коснулся его слуха, прорезав глубокую ночную тишину. Казалось, всхлипывает несчастное человеческое существо. Кардинал затаил дыхание – звуки повторились. Теперь было ясно, что издает их страдающее дитя, оплакивая свою участь. Повинуясь импульсу, кардинал встал с постели, шагнул к окну, выглянул, но никого не увидел. Вся ширь Соборной площади была залита лунным светом; великолепная оконная роза между двумя высокими башнями тоже источала бледное сияние, подобно гигантской паутине, испещренной росинками.

И снова эти жалобные всхлипывания! Они проникли в самое сердце кардинала, пронзили его состраданием.

– Так плакать может только потерявшийся голодный ре-

бенок, – заключил он. – Бедняжку некому утешить в нашем неуютном мире.

Кардинал поспешно оделся, на цыпочках вышел из комнаты, ощупью, без огня, боясь всполошить хозяев, спустился по недлинной лестнице, добрался до двери, бесшумно открыл ее и ступил на площадь. Сделав несколько шагов, он замер и прислушался. Ночь была на диво ясная, усеянный звездами лиловый купол неба не пятнало ни единое облачко. Луна ликовала, омывая каждый видимый объект хрустальным сиянием, столь чистым и всепроникающим, что всякому могло бы показаться, будто резьбу на фасаде Собора он рассматривает через увеличительное стекло. Кардинал достиг центра площади; на истертые до блеска серые камни пала длинная, тонкая черная тень от его высокой фигуры. Он замер, заново переживая недавнюю тоску – ощущение, что от мира осталась одна оболочка. Кругом были дома, прямо перед кардиналом – величественное здание, возведенное, дабы в нем славили Господа – но что с того? Запустением было пропитано все и вся. Сам Собор представился кардиналу шелухой Веры: из нее упали семена – иные «в тернии», иные «на места каменистые», иные «при дороге», так что «налетели птицы и поклевали их»²⁸. Темнее и тяжелее становилась туча депрессии, и жарко разгорался в сердце протест, столь давно требовавший облечения в слова, – протест священника против института, которому он служит! Это было ужасно,

²⁸ Притча о сеятеле, Ев. от Матфея, 13:22.

дико, неестественно для «князя Римской Церкви», но метаморфоза свершалась исподволь, и мировоззрение кардинала Бонпре изменилось в масштабах, о коих он сам не подозревал.

– Мир опустошен, ибо Господь оставил его, – молвил кардинал, подняв глаза к безмятежным небесам. – Радость бытия уходит, потому что Божественный Святой Дух покинул все сущее!

Он сделал еще несколько шагов – и вновь тишину пронзили горестные всхлипы, приведя кардинала в трепет. Казалось, плач доносится из Собора; к нему-то Бонпре и поспешил.

Приблизившись, он в первую минуту ничего не мог различить под массивными резными сводами, в темной пасти портала. Но внезапно – и сразу всю целиком – зрение Феликса Бонпре выхватило из непроницаемой черноты одинокую фигурку. Воздев в мольбе тонкие руки, на запертую дверь всем телом, словно в последнем рывке немой и безутешной скорби, налег хрупкий отрок. Вот он весь содрогнулся от долгого вздоха, чем вызвал в кардинале новый приступ жалости.

– Бедное дитя мое, что тебя печалит? – ласково заговорил Феликс Бонпре. – Почему ты плачешь здесь один среди ночи? Тебе некуда идти? У тебя нет родителей?

Медленно, не отнимая тонких рук от дубовой двери, мальчик повернул голову и улыбнулся сквозь слезы. О, что за лицо! Измученное, усталое – но прекрасное! Что за глаза

– припухшие от росы скорбей, но даже в горе полные красоты!

Кардинал попятился: так неожиданно было сочетание чистоты с отчаянием в столь юном существе. Затем, справившись с собой, он шагнул к отроку и снова спросил, с еще большим изумлением и лаской:

– Почему ты плачешь и почему ты здесь совсем один?

– Потому что плакать мне только и остается, – последовал ответ, причем само дрожание юного голоса показалось кардиналу нежно-мелодичным. – Для меня мир пуст.

Мир пуст! Ощущения из давешнего сна овладели кардиналом, и он затрепетал, сам не зная, чего страшится. Пока он в волнении рассматривал юного странника, тот печально произнес:

– Мне бы отдохнуть там, внутри, но собор для меня закрыт.

– Двери всегда запирают на ночь, дитя мое, – пояснил Феликс Бонпре, очнувшись от секундного замешательства. – Но приют тебе могу дать я. Пойдешь ли ты со мной?

На юном лице явилось полувопросительное выражение с намеком на улыбку; отрок опустил руки (до сих пор его поза иллюстрировала мольбу, готовую перерасти в обиду) и сделал шаг под лунный свет.

– Пойду ли я с тобой? – обратился он к Феликсу Бонпре. – Нет, это мне следует спросить «Примешь ли ты меня?», ибо я вижу, что ты – кардинал Церкви. Тебе неизвестно, кто я

такой, откуда взялся; а я, увы, не вправе раскрыть себя. Я одинок, совершенно одинок – никто в целом мире меня не знает. Я беден, лишен друзей и какого бы то ни было имущества. Мне нечем заплатить за кров – нечем, кроме благоговения!

С удивительной простотой и серьезностью были произнесены эти слова; голову мальчик держал высоко поднятой, на лицо ему падали лунные лучи, и вся его прямая фигурка светилась благородством – но не тем, которое диктует гордыни, а тем, которое возвращает долготерпение. Феликса Бонпре была необъяснимая дрожь. Стремление во что бы то ни стало увести с собой найденыша росло и росло, пока не завладело всем его существом.

– Так идем же, – позвал он и протянул руку. – Идем! Остаток ночи ты проспишь в моей комнате, а завтра мы обсудим твое будущее. Сейчас тебе нужен отдых.

Мальчик благодарно улыбнулся. Он ничего не сказал, но кардиналу хватило и взгляда, выражающего согласие. Он повел найденыша через площадь в гостиничку «Пуатье». В комнате он оправил постель, старательно и любовно взбил подушки.

Мальчик молча наблюдал за ним.

– Ложись спать, дитя мое. Забудь свои беды. Постель готова, до утра никто тебя не потревожит.

– А как же ты, мой добрый кардинал? – спросил мальчик. – Ты будешь терпеть неудобства ради моего комфорта?

В мире иначе поступают.

– Ну а я поступаю так, как считаю нужным, – улыбнулся Бонпре. – Ты же, мой мальчик, не теряй стойкости, пусть даже мир не был к тебе милосерд. За меня не волнуйся – я лягу на диване в смежной комнате, да и усну быстрее, если буду знать, что ты уже не плачешь и что хотя бы нынешней ночью имеешь крышу над головой.

Внезапным быстрым движением мальчик взял в свои ладошки обе руки кардинала.

– Понимаешь ли ты, что делаешь? – заговорил он с возрастающей кротостью. – Не расквесишь ли, что приютил меня? Я ведь чужак, нищий бродяга, за которого некому поручиться. Почему же ты уверен во мне? Вдруг я окажусь неблагодарным, вдруг злом отплачу за твою доброту?

Снизу вверх найденыш глядел на кардинала, и его изнуренное личико, светясь изнутри, озаряло убогую комнату. Так сиять могут ангельские лики, подумалось Феликсу Бонпре, и он заговорил со смесью жалости и удивления:

– Это в руке Господней, дитя. Благодарности твоей я не ищу. Я счастлив уже тем, что приютил тебя; да и дурно было бы с моей стороны оставить под открытым небом живое существо, когда я имею возможность разделить с ним кров. Отдыхай и помни: твой спокойный сон не только пойдет на пользу тебе, но принесет отраду мне.

– Ты даже не спросишь, как меня зовут? – Мальчик улыбнулся краешком рта, не сводя с Феликса Бонпре своих глу-

боких синих глаз.

– Ты сам мне скажешь, если захочешь, – отвечал Феликс, высвобождая руку и вороша мягкие кудри, что падали найденышу на лоб. – Я не любопытен. Я знаю, что ты – одинокое дитя; этого печального факта довольно, чтобы я служил тебе.

– Выходит, я обрел друга! – воскликнул найденыш. – Вот странность! – Он умолк, и давешняя улыбка солнечным лучом просияла на его лице. – Ты вправе знать мое имя и, если на то будет твоя воля, называть меня этим именем. Я – Мануэль.

– Мануэль? – повторил Феликс Бонпре. – А дальше как?

– Это все, – серьезно ответил мальчик. – Я ведь бродяжка, бесприютный странник, каких немало в этом мире, вот и обхожусь одним только именем.

Последовала краткая пауза, во время которой старик и отрок глядели друг на друга пристально и прямо. Превозмогая очередной приступ необъяснимой нервной дрожи, Бонпре ласково произнес:

– Что ж, Мануэль так Мануэль. Спокойной ночи! Спи, и да пребудет с тобой благословение, даруемое Пресвятой Девой!

Осенив найденыша крестным знаменiem, Феликс Бонпре тихонько вышел в смежную комнату, однако на диван ложиться и не подумал. Усевшись у окна, он погрузился в размышления. Ничего необычного не было в том, что он приютил на ночь ребенка, – так откуда же это странное волнение? Поди знай! Конечно, свою роль тут сыграла трагиче-

ская красота, которой овеяны черты Мануэля – на сей счет Феликс Бонпре с собой не лукавил; но было в его внезапной привязанности к найденышу нечто иное, невыразимое. Словно заполнился обширный вакуум; словно мальчик, подобранный у дверей руанского собора, был связан с кардиналом Феликсом таинственными узами, да столь прочно, столь окончательно, что о расставании и речи идти не могло. Однако что за фантазия! Если размышлять здраво, подобным сантиментам взяться просто неоткуда. Есть маленький нищий, без сомнения, сирота, бездомный, безродный; кардинал устроил его на ночлег, а завтра – да, завтра – накормит, приоденет, даст ему несколько монет, замолвит за него словечко перед архиепископом Руанским, чтобы определил Мануэля да хоть в подмастерья, сам же попробует навести о нем справки. Вот так надо действовать – трезво, хладнокровно. Обаяние найденыша, хотя и неотразимое, не должно влиять на решения о его судьбе. Мальчик сам назвал себя бродяжкой, бесприютным странником; имя Мануэль (если оно настоящее) во Франции весьма распространено. На вид ему лет двенадцать, не больше. Для него можно сделать что-то хорошее – нет, НУЖНО сделать, прежде чем кардинал с ним расстанется.

Ах, но именно мысль о расставании была несносна Феликсу Бонпре! Сверх всякой меры потрясенный своим настроением, он вновь и вновь перебирал события минувшего дня. Вот он прибыл в Руан; посетил Собор, где слушал (или вообра-

жал, что слушает) торжественную музыку. Затем – короткий разговор с парой юных скептиков – братцем и сестрицей Пату, да еще с их матушкой. Далее беседа с архиепископом, которая взвинтила нервы Феликса Бонпре сильнее, нежели он готов был признать. Потом – сон, это мучительное ощущение заброшенности и пустоты, конца света. Наконец, отрок – одинокий, отчаявшийся, словно исторгнутый ненасытной морской пучиной, прибитый волнами к запертой соборной двери обломок вселенской катастрофы. Каждое из этих событий, тривиальное само по себе, в глазах кардинала обрело чрезвычайную, хотя и необъяснимую значимость. Он все думал у окошка; а между тем луна, словно серебряный шар, катилась к горизонту, и одна за другой гасли звезды, и уже бледная тускло-золотистая полоска явилась на востоке – не свет, а лишь предтеча света, вестница зари, пока незримой. Вдруг несказанная нежность охватила Феликса Бонпре; он тихонько встал и подошел к двери в смежную комнату. Затаив дыхание, Бонпре прислушался – и ничего не услышал. Тогда со всеми предосторожностями он отворил дверь.

Мягкое, бледное сияние, проникая в окно, не разливалось по всей комнате, но сосредоточивалось на кровати, где спал усталый бродяжка. Его тонкий профиль был отчетливо виден кардиналу; мягкие пшеничные волосы казались нимбом над широким лбом; маленькие ладони лежали, скрещенные, на груди; на устах теплилась улыбка.

Кардинал всегда был отзывчив на красоту, невинность и

беспомощность, свойственные детям; однако нечто в облике этого бродяжки заставило сердце Бонпре биться от необычных чувств. Глядя на спящего, Бонпре обращался к Господу за советом: что именно предпринять, как спасти это уязвимое юное существо от жестокостей, коих полон мир?

Глава V

«Он доверился мне, – подумал кардинал. – Я его нашел, и бросить на произвол судьбы просто не вправе. Ибо Христос учит: “И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает”»²⁹.

Утро настало тихое и ясное; выждав, когда звуки из нижнего этажа сообщат, что семейство Пату пробудилось, кардинал Бонпре спустился в кухню и поведал хозяйке о ночном происшествии. Мадам Пату, хоть и слушала почтительно, не могла удержаться от восклицаний, в которых мешались удивление и острастка.

– Только человек с таким сердцем, как ваше, монсеньор, уступит свою постель маленькому нищему, о котором ничего не известно. Увы, слишком часто платой за добро бывает неблагодарность. Стараешься этак для бедняков, а они как во вкус войдут, так и простого «спасибо» от них не дождешься. Не иначе то козни врага рода человеческого. Говорят, не делай добра – не получишь зла; так это про меня, монсеньор, про всю мою жизнь!

– Поистине, печален ваш опыт, дочь моя, – улыбнулся кардинал. – И все-таки мы должны творить добро, не думая, чем оно для нас обернется. В этом мире нам по заслугам не воз-

²⁹ Ев. от Матфея, 18:5.

дадут; но, если бы не были мы обречены страдать, пропал бы и смысл таких добродетелей, как терпение и прощение, не правда ли?

— Ах, монсеньор, для вашего-то преосвященства все по-другому, — вздохнула, качая головой, мадам Пату. — Вы вроде как святой угодник, ниша для вас — Церковь, и сама Дева Мария вам покровительство оказывает денно и ночью. А к ничтожным людям, вот вроде нас, жизнь изнанкой повернута. Мы-то знаем, как скуп этот мир на добро, а что до терпения с прощением, так нынче и человека такого не найдется, который бы стерпел от ближнего, а тем паче простил ему хоть самую малую малость! Родные братья — и те из-за обидного слова сцепятся, будто дворовые псы из-за мосла. А женщины! Заведись у одной лишний ухажер, другая из зависти глотку себе разными поношениями до хрипоты раздерет. Уж простите, ваше преосвященство, что я напрямик говорю, а только так оно и есть, а святые, сущие на Небеси, нашими земными дрызгами не мараются. Ну а насчет вашего найденыша я вот что скажу: вернули бы вы его туда, откуда взяли. В школу его не устроить, потому как неведомо, кто евовные отец с матерью. Разве только найдется доброхот, опеку над ним учредит, но это вряд ли. У нас в Руане полно неимущих, почти в каждой семье своих голодных ртов хватает и... *mon Dieu* ³⁰! Так это и есть ваш найденыш?

Мадам Пату столь резко прервала речь, ибо перед ней

³⁰ Мой Бог! (*фр.*)

вдруг возник Мануэль. Благодать и чистота, которыми дышало детское личико, живо нашли отклик в сердце мадам Пату. Она будто не замечала грязных обносков на щупленьком детском теле; она чувствовала только острое сострадание к одинокому ребенку. Между тем кардинал приобнял Мануэля и спросил, как ему спалось.

– Благодаря доброте моего господина я этой ночью словно побывал на Небесах – настолько сладкие мне снились сны. Я слушал ангельское пение – да, да! Я слушал музыку мира, который не ведает ни грехов, ни скорбей!

Мануэль потерял своей золотистой макушкой о руку кардинала Бонпре; улыбка возникла на его губах. Мадам Пату стояла как зачарованная, не в силах молвить слово, не в силах отвести взгляд, пока в глазах у нее не защемило. Она живо отвернулась, но кардинал заметил слезы и угадал чувства хозяйки гостиницы.

– Что теперь скажете, добрая матушка? – начал он, интонацией выделив слово «матушка». – Должен ли я бросить дитя, которое нашел?

– Нет, монсеньор! Нет! – выдохнула мадам Пату. – Этот мальчик будто ангелочек, посланный вам в утешение.

Трепет объял кардинала. Ангел, посланный в утешение! Сверху вниз он посмотрел на Мануэля, просиявшего открытой улыбкой.

– Откуда ты явился, Мануэль? – неожиданно для себя самого спросил Феликс Бонпре.

– Этого я не могу сказать, – был ему прямой и бесхитростный ответ.

Кардинал медлил; его пронизательные глаза с любовью вглядывались в юное личико.

– Ты не хочешь мне открыться, так? – наконец уточнил он.

– Так, – тихо молвил Мануэль. – Я не хочу открыться тебе. И если по этой причине ты расквещаешься в своей доброте, мой господин кардинал, я немедленно уйду и больше не потревожу тебя.

На этих словах Феликса Бонпре пронзила боль, какую вызывают только самые тяжелые утраты, а за болью последовал приступ страха.

– Нет, нет, дитя мое, – сбивчиво заговорил он. – Я тебя не отпущу – просто не смогу. Будь по-твоему; ни мне, ни себе ты не причиняешь зла, утаивая сведения, открыть которые было бы к твоей же пользе. Скажи только, ты действительно один в целом свете?

– Совсем, совсем один! – воскликнул Мануэль, и легкой тенью подернулся его ясный взор. – Никто еще не был более одинок, чем я!

Мадам Пату подошла поближе.

– Что ж, и право на тебя некому предъявить? – спросила она.

– Некому!

На этом слове мадам Пату, понизив голос, обратилась к кардиналу:

– Чудно-то как, монсеньор: дитя не по-простому говорит, а будто растили его в приличном доме, наукам обучали.

Взгляд глубоких глаз Мануэля затуманился и, полный кротости, остановился на мадам Пату.

– Я сам себя учил, но не одни книги были мне источниками знаний, а еще и природа. Деревья и реки, цветы и птицы говорили со мной и многое мне объясняли. Все, что я знаю, передано мне Господом.

Сверх всякой меры растроганная, мадам Пату завохтала:

– Бедный деточка! Не иначе из конца в конец Францию исходил один-одинешенек, ни ласки, ни подмоги не видал. Ужасно, когда судьба не дает человеку подрасти, а сразу на него беды обрушивает. Он, пожалуй, и молитв не знает?

– Знаю! – возразил Мануэль. – Молитва подобна мысли, а Господь столь милосерд, что благодарить и славить Его получается само собой, не так ли?

– Так было бы правильно, мой мальчик, – вздохнул Феликс Бонпре. – Однако, боюсь, для многих естественнее забывать, нежели помнить. Слишком часто мы, принимая дары, вовсе не думаем о дарителе. А сейчас идем в комнату завтракать. Ты пока останешься со мной, а я подумаю, что нужно для твоего будущего блага.

Затем, обращаясь к мадам Пату, кардинал с улыбкой добавил:

– Надеюсь, дочь моя, вы больше не укорите меня за то, что я взял с улицы этого мальчика, одинокого и беззащитно-

го. Вам, матери двоих детей, следовало бы понимать и мои чувства, и заповедь о соблазнении «малых сих»³¹, недопустимом для служителей Церкви.

– Ах, монсеньор, будь все святые отцы вроде вас, куда больше бедных мирян веровало бы в Господа Бога. А при теперешнем положении, когда люди голодают да терпят притеснения, что ж удивительного, если они и святым отцам проклятия шлют, и самой вере? Оно им обидно, и за насмешку считается слушать про небесное блаженство и лямку тянуть до самой до смерти телесной, и ни выхода не иметь, ни надежды...

Впрочем, кардинал уже скрылся в своей комнате вместе с мальчиком, и финальные фразы мадам Пату пропали втуне. Она утешилась, когда изложила историю о «найденныше монсеньора» своему мужу, который как раз вошел в кухню, чтобы подкрепиться перед огородными трудами. Жан Пату слушал очень внимательно.

– С мальчишками хлопот не оберешься, – резюмировал он. – Скоро монсеньор сам в этом убедится. Сколько лет найденнышу?

– Около двенадцати, – отвечала мадам Пату. – И личико у него ангельское, Жан!

– Вот это совсем никуда не годится! – Пату покачал го-

³¹ Ев. от Матфея, 18:6, полностью стих звучит так: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

ловой, скроив зловещую мину. – Когда девчонка хорошенькой родилась, оно и то худо; а уж если мальчик!.. Ну да это не наша печаль. Монсеньор – он мудрый, его даже святым прозвали – он лучше знает. Только, боюсь, такое бремя он себе на плечи взвалил, что раскается вскоре. А твое какое мнение, малютка моя?

Мадам Пату ответила не сразу.

– Я, Жан, не знаю, что и думать. Я вот что скажу: как только я увидала его, со мной будто удушье сделалось. Этаким комком к горлу подступил, и ни слова резкого я вымолвить не смогла. Столько в бедном сиротке кротости да благодати – никто бы его не выбранил, Жан, и в то же время...

– Понятно! – воскликнул Пату, залпом допив кофе и ослабившись. – Уж таковы женщины; увидят смазливое дитя – хоть девчушку, хоть парнишку – и раскиснут от умиления. Где, кстати, наши озорники? В школе уже?

– Да, они ушли раньше, чем спустился кардинал. Нынче суббота, так что они скоро вернутся и притащат к монсеньору бедняжку Фабьена Дюсэ.

– Это еще зачем? – Пату вытаращил свои круглые глаза.

– Такая уж им пришла фантазия – чтобы кардинал благословил Фабьена и помолился Святой Деве о его исцелении. Это все Бабетта. Я возьми да и скажи: мол, кардинал – святой; а она и заявляет: не поверю, пока он чудо не сотворит! Гадкая девчонка, суший бесенок! Под стать Анри, который ничего на веру не принимает!

Жан Пату помрачнел:

– Тут школа виновата. Надо будет потолковать с Пером Лореном.

– Да уж, не худо бы, – согласилась мадам Пату. – Пер Лорен умеет объяснять – не то что мы. Но Фабьена Дюсэ наши дети все-таки приведут к монсеньору, раз уж засела эта мысль в их головках. Ну а если бедняжке увечному не получается, уж и не знаю, как мы с тобой, Жан, выкручиваться будем, чтобы почтение к святым дети наши вовсе не растеряли!

Пату пробормотал что-то невнятное и отправился возделывать сельдерей. Жизнь казалась ему превосходной штукой, хотя отдельные мелочи и вызывали тревогу. Одной из таких мелочей была, конечно, «проблема национального образования». Прежде всего, Пату находил странным, что государство принуждает его отправлять детей в школу; но главное, обучение-то в этой самой школе как построено? Втемяшивают детям идеи, которых он, Жан Пату, не приемлет! Нет, он не против, чтобы сын его умел читать и писать; но этих знаний с него бы и довольно, а дальше учили бы его, к примеру, как цветы выращивать на продажу или плодовые деревья обихаживать. Дочке, ясно, грамота тоже не повредит, только упор бы полезнее сделать на стряпню и домоводство, чтобы вышла из Бабетты, когда время настанет, добрая жена и мать. Без астрономии прекрасно обойдутся как Анри, так и Бабетта, да и без этих «точных наук»

заодно. А вот Закон Божий просто необходим, но как раз его-то из национальной школьной программы и вычеркнули. Жан Пату прекрасно знал, как много нынче достойных сожаления субъектов, которые отвергли религию и глумятся над самой идеей существования Бога. Каждый день, проходя мимо книжных развалов, он прочитывал кощунственные названия, предполагавшие чудовищное содержание, и с горечью думал, что богохульство неумолимо расползается по всей Франции, а скоро, чего доброго, никого уже не возмутит. Гнусные новые веяния, впрочем, никак не затрагивали его собственных представлений о добре и справедливости. Жан Пату, самый обыкновенный человек, почитал все связанное с верой; чутье говорило ему, что, если этот мир и впрямь нехорош, без веры в Господа он станет много хуже. Тем утром Жан Пату обихаживал сельдерей в нехарактерной для себя задумчивости. Тяжело ступая, он вспугнул стайку бурых пичужек, чьи гнезда были устроены прямо на земле. Пичужки принялись летать невысоко, взад-вперед, пронзая эфир тревожными звуками; Пату, облокотившись на рукоять мотыги, печально глядел в небеса.

– И всему-то сущему страшно, – констатировал он. – Птицы, звери, люди – все боятся, а чего – и сами толком не понимают. Порой думаешь: многовато хлопотать приходится, чтобы просто жить; ну да Богу-то лучше знать. Ежели бы мы в это не веровали, нам бы тогда впору греться у камина, заперши окна и двери, да приговаривать: «Доброго дня, мосье

Боженька! Ты запутался, а мы и подавно, так не лучше ли конец положить всей этой чепухе?»

Пату хихикнул, довольный своими рассуждениями, поплевал на ладони и принялся энергично окучивать сельдерей, напевая: «Доброго дня, мосье Боженька, доброго дня!» – причем мысль о непочтительности не закрадывалась ему в голову. То и дело поднимая глаза, Пату сокрушался, что не поглядел на кардинальского найденыша.

– Хлебнет с ним лиха кардинал! – бубнил он, выворачивая и прихлопывая пласты жирного чернозема. – Потому что не являлся еще в этот мир мальчишка, от которого бы хлопот не было; вот разве наш Спаситель не таков, да и то, наверное, в детские года озадачивал изрядно своих родичей!

Пока Жан Пату работал в огороде, то напевая, то произнося монологи, двое его детей, выбежав после занятий из школы, поспешили на базар, где и насели на крупную смуглую женщину, которая, укрывшись от солнца под большим золотанным красным зонтом, торговала битой птицей. Звали эту женщину Мартина Дюсэ; известна она была склочным нравом и острейшим в Руане языком. Впрочем, некоторые считали, что язвительность развилась в ней от тяжелой жизни, от невзгод, выпавших на ее долю. Мосье Дюсэ, ее муж, честный человек, и притом красивый собой, был каменщиком. На Бульварах тогда как раз шло активное строительство, и Дюсэ еженедельно приносил домой неплохие деньги, пока не погиб, сорвавшись с лестницы. Единствен-

ный сын, Фабьен, в раннем детстве упал с тачки, на которой мадам Дюсэ везла на продажу уток и гусей. Поначалу казалось, что малыш отделался легким испугом; увечье проявилось себя позднее. Фабьен, ныне десятилетний, почти не вырос, его позвоночник был сильно искривлен, а одна нога не действовала. Бедняжка еле-еле ковылял, опираясь на костыли, волоча бесполезную сухую ногу. При этом личико у него было премилое, а нрав на диво кроткий. Остро сознавая свое несчастье, Фабьен хранил в сердце тайное упование – умереть ребенком, чтобы, подобно камню, не повиснуть на материнской шее. Об этом он неустанно молил Бога. Мартина Дюсэ, однако, души не чаяла в своем обездоленном сыне. Любя Фабьена болезненно и самоотверженно, эта женщина прониклась мстительным чувством к Господу Богу. Она пошла дальше: когда кюре, раз за разом не обнаруживая мадам Дюсэ на мессе, вздумал упрекать ее в пренебрежении религиозными обязанностями, Мартина прямо в лицо ему заявила, что в Бога больше не верит. О, какой речью она тогда разразилась, как развевались ее юбки, когда она – сущий смерч – наскакивала на своего пастора!

– В кого мне веровать-то? Ах, вот в него? А что он МНЕ хорошего сделал? Что, я спрашиваю? Было время – я день и ночь молитвы возносила, и к мессе ходила, и на исповедь, и в день Торжества Девы Марии ³² четки перебирала, на каж-

³² *День торжества Девы Марии* – католический праздник наивысшего статуса, посещение мессы строго обязательно.

дую бусину по молитве; и что же? Муж мой погиб? Погиб! Сын увечье получил? Получил! Я не сдавалась, веры не теряла; святые угодники сто раз уже могли дело исправить – так я их обхаживала! Сколько я денег, честно заработанных, в церковь снесла, чтоб, значит, моего мальчика особенно в молитвах поминали, чтоб исцелился он! А новенны ³³

³³ *Новенны* – католическая практика, в течение девяти дней подряд молитвенное обращение к конкретному святому с конкретной просьбой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.